Иван Мазилин

**Страсти по Феодору**

**Литературная композиция по произведениям Ф. М. Достоевского**

**Действующие лица (по очередности появления):**

**Федор Михайлович Достоевский (Ф.М.)**

**Лужин Петр Петрович (Л)**

**Свидригайлов (Св) ?**

**Закладчик (Зак)**

**Кроткая (К)**

**Лукерья (Лук)**

**Порфирий Петрович (П.П.)**

**Родион Раскольников (Р.Р.)**

**Соня Мармеладова (Соня)**

**Иван Карамазов (И.К.)**

**Смердяков (С.)**

**Черт (Ч.)**

**Алеша (А.К.)**

**Иешуа**

**Понтий Пилат**

**Секретарь (Сек.)**

**Марк Крысобой (Марк)**

**Каифа**

**Инквизитор (И.)**

**ГОЛОС, ХОР**

**Ф.М.** – Господа… хочу обратиться к вам с вопросом приватным. Случалось ли вам, господа, ярким солнечным днем, посреди шумной толпы большого города, вдруг, на несколько мгновений почувствовать полнейшее одиночество, вдруг как бы «оглохнуть», и удивленно глядя вокруг, так ясно понять, что вас здесь просто не должно быть, и все это движение вкруг вас, весь этот «пир жизни» к вам лично никакого отношения не имеет? Или же безо всяких на то причин, вдруг проснуться посреди ночи, в полном безмолвии, и ощутить присутствие в себе самом еще кого-то?.. Обычно эти ощущения скоро проходят. Достаточно бывает резкого звука совсем рядом или незначительного нечаянного толчка в спину… достаточно дотянуться до стакана и сделать один глоток воды и перевернуться на другой бок. Я уверен, что почти всем вам, господа, случалось ощущать нечто подобное. И также почти уверен, что вы в подобном случае попытались объяснить себе это явление каким-нибудь химическим процессом вашего организма, и на этом успокаивались. Я же думаю, что химия в этом случае ни при чем. Здесь нечто иное, я так полагаю.

Полагаю же я, что это наша душа пытается нам сообщить нечто важное! Это душа наша напоминает, о нашем предназначении существования на земле, о нашем уроке, который мы не исполняем, или пытаемся истолковать этот урок по своему разумению… Мы от всего этого отмахиваемся. Потому по большому счету нам ничего этого и не нужно… не нужно слушать свою душу, лучше уж объяснить все химией. Спокойней как-то. К тому же, это создает крайнее неудобство, а личное удобство в жизни есть то главное, ради чего мы, по крайней мере, большинство из нас, еще как-то существуем пока на этой земле. И даже название этому придумали – здоровый эгоизм. Мне же видится, что это не так. На самом деле это просто самоуничтожение.

В великом завете сказано - «возлюби ближнего как самого себя». Но как же мы можем возлюбить ближнего, если мы самих себя не любим? И это не парадокс, не игра в слова. Потому, если бы себя любили, так и исполняли бы все прихоти, холили бы и лелеяли, отмывали и вычищали бы ежедневно… не только тело свое, но и мысли, помыслы и желания. А для начала, в качестве опыта очищения, для эксперимента, попробовали бы доверить свою внутреннюю человечью суть бумаге…

Что, страшно? Да – страшно…

Ну, вот что я вам скажу, господа… Если б только могло быть, чтоб каждый из нас, для очищения себя любимого, описал всю свою подноготную, но так, чтоб не побоялся изложить не только то, что боится сказать и ни за что не скажет людям, но даже и то, в чем боится признаться самому себе, - то ведь на свете поднялся бы такой смрад, что нам бы, всем надо было бы задохнуться. От слов задыхались бы... А от дел наших?.. А вот, видите, не задыхаемся же...

Я же… очень давно уже, решил для себя это попробовать, а в итоге оказалось, что всю свою жизнь на это и положил. Всю жизнь искал в человеке, божественное подобие, лежащее в вере его. И моя уверенность состоит в том, что Бог должен быть в душе и в сердце, человек должен быть с ним единен, а не убежден только в существовании Бога, ибо такое убеждение еще не вера. Ведь никто не может быть не убежден в существовании Бога. Я думаю, что даже и атеисты сохраняют это убеждение, хотя в этом и не сознаются, от стыда, что ли? — уж я и не знаю.

Для меня Бог – Любовь и Истина. И я видел ее, видел своими глазами... я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, что зло может быть нормальным состоянием людей. Не верю.

Я хочу найти Человека в человеке.

**ГОЛОС** – Зачем ты пришел нам мешать? Ведь ты пришел нам мешать, и сам это знаешь…

**1.**

**Л**. - А если мне, например, до сих пор говорили: «возлюби», и я возлюблял, то что из того выходило? Выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы, по русской пословице: «Пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь». Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь, как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана и уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния

**(Св) -** Или вот еще – о преступлении… Мысль простая, но, к несчастию, слишком долго не приходившая, заслоненная так сказать восторженностью и мечтательностью, а, казалось бы, немного надо остроумия, чтобы догадаться… Но могу сказать, меня интересует при этом совсем другое обстоятельство так сказать, целый вопрос. Не говорю уже о том, что преступления в низшем классе, в последние лет пять, увеличились; не говорю о повсеместных и беспрерывных грабежах и пожарах. И страннее всего то, что преступления и в высших классах таким же образом увеличиваются и, так сказать, параллельно… Там убивают нашего секретаря за границей, по причине денежной и загадочной… Там, слышно, бывший студент на большой дороге почту разбил. Там передовые, по общественному своему положению, люди фальшивые бумажки делают, билеты последнего займа с лотереей подделывают. А как попался один, так на вопрос, зачем билеты подделывал: «Все богатеют разными способами, так и мне поскорей захотелось разбогатеть». Точных слов не помню, но смысл, что на даровщинку, поскорей, без труда! На всем готовом привыкли жить, на чужих помочах ходить, жеваное есть. Ну, а пробил час великий, тут всяк и объявится, чем смотрит… А если довести до последствий, и то выйдет, что людей можно резать… Но на все есть мера, экономическая идея еще не есть приглашение к убийству, хотя… в каком-нибудь ином масштабе… в мировом, скажем…

**2**

**Зак.** ---Вот пока она здесь — еще всё хорошо: подхожу и смотрю поминутно; а унесут завтра и — как же я останусь один? Она теперь в зале на столе, гроб будет завтра, белый, белый гроденапль, Я всё хожу и хочу себе уяснить это.

Это вот как было. Это если хотите знать, то есть если с самого начала брать, то она просто-запросто приходила ко мне тогда закладывать вещи, чтоб оплатить публикацию в «Голосе» о том, что вот, дескать, так и так, гувернантка, согласна и в отъезд, и уроки давать на дому, и проч., и проч.

Это было в самом начале, и я, конечно, не различал ее от других: потом стал различать. Была она такая тоненькая, со мной всегда мешковата, как будто конфузилась. Только что получала деньги, тотчас же повертывалась и уходила.

В тот раз, она принесла сигарный янтарный мундштук — вещица так себе, любительская, у нас опять-таки ничего не стоящая, потому что мы — только золото. Выдавая ей два рубля, я не удержался и сказал как бы с некоторым раздражением: «Я ведь это только для вас, такую вещь у вас Мозер не примет». Слово «для вас» я особенно подчеркнул, и именно в некотором смысле. Зол был. Она опять вспыхнула, выслушав это «для вас», но смолчала, не бросила денег, приняла, — то-то бедность! А как вспыхнула! Я понял, что уколол.

А когда она уже вышла, вдруг спросил себя: так неужели же это торжество над ней стоит двух рублей? И, смеясь, разрешил его про себя в утвердительном смысле.

Ну, вот с тех пор всё и началось. Я догадался, что она добра и кротка. Добрые и кроткие недолго сопротивляются и хоть вовсе не очень открываются, но от разговора увернуться никак не умеют: отвечают скупо, но отвечают, и чем дальше, тем больше, только сами не уставайте, если вам надо.

Я решился ее тогда в последний раз испытать: вдруг беру сегодняшний «Голос» и показываю ей объявление: «Молодая особа, круглая сирота, ищет места гувернантки к малолетним детям, преимущественно у пожилого вдовца. Может облегчить в хозяйстве».

— Вот, видите, эта сегодня утром публиковалась, а к вечеру наверно место нашла. Вот как надо публиковаться!

Опять вспыхнула, опять глаза загорелись, повернулась и тотчас ушла. Мне очень понравилось. На третий день приходит, такая бледненькая, взволнованная, — я понял, что у ней что-то вышло дома, и действительно вышло.

Дело в том, что она принесла этот образ (решилась принести)… Ах, слушайте! слушайте! Вот теперь уже началось, а то я всё путался… Дело в том, что я теперь всё это хочу припомнить, каждую эту мелочь, каждую черточку. Я всё хочу в точку мысли собрать и — не могу.

Образ богородицы. Богородица с младенцем, домашний, семейный, старинный, риза серебряная золоченая — стоит — ну, рублей шесть стоит. Вижу, дорог ей образ, закладывает весь образ, ризы не снимая. Говорю ей: лучше бы ризу снять, а образ унесите; а то образ все-таки как-то того.

**К** — А разве вам запрещено?

**Зак** — Нет, не то что запрещено, а так, может быть, вам самим…

**К** — Ну, снимите.

**Зак** — Знаете что, я не буду снимать, а поставлю вон туда в киот,  с другими образами, под лампадкой и просто-запросто возьмите десять рублей.

**К** — Мне не надо десяти, дайте мне пять, я непременно выкуплю.

**Зак** — А десять не хотите? Образ стоит,  Она смолчала. Я вынес ей пять рублей. — Не презирайте никого, я сам был в этих тисках, да еще похуже-с, и если теперь вы видите меня за таким занятием… то ведь это после всего, что я вынес…

**К** — Вы мстите обществу? Да?

**Зак** — Видите ли…  «Я — я есмь часть той части целого, которая хочет делать зло, а творит добро…»

**К** — Постойте… Что это за мысль? Откуда это? Я где-то слышала…

**Зак** — Не ломайте головы, в этих выражениях Мефистофель рекомендуется Фаусту. «Фауста» читали?

**К** — Не… невнимательно.

**Зак** — То есть не читали вовсе. Надо прочесть. А впрочем, я вижу опять на ваших губах насмешливую складку. Пожалуйста, не предположите во мне столь мало вкуса, что я, чтобы закрасить мою роль закладчика, захотел отрекомендоваться вам Мефистофелем. Закладчик закладчиком и останется.  Видите,  на всяком поприще можно делать хорошее. Я конечно не про себя, я, кроме дурного, положим, ничего не делаю, но…

**К** — Конечно, можно делать и на всяком месте хорошее, Именно на всяком месте, — вдруг прибавила она.

Когда она вышла, я разом порешил. В тот же день я пошел на последние поиски и узнал об ней всю текущую подноготную; прежнюю-то подноготную я знал уже от Лукерьи, которую я уже несколько дней тому подкупил.

«Подноготную», была ужасная: отец и мать померли, давно уже, три года перед тем, а осталась она у беспорядочных теток. Обе скверные. Детей теткиных учила, белье шила, а под конец не только белье, полы мыла. Попросту они даже ее били, попрекали куском. Кончили тем, что намеревались продать.

Всё это наблюдал целый год соседний толстый лавочник, Он уж двух жен усахарил и искал третью, вот и наглядел ее:

В тот день после утрешнего-то с иконой и порешил. Вечером приехал купец, привез из лавки фунт конфет в полтинник; она с ним сидит, а я вызвал из кухни Лукерью и велел сходить к ней шепнуть, что я, мол, у ворот и желаю ей что-то сказать в самом неотложном виде. Я собою остался доволен.

Тут же у ворот ей, изумленной, при Лукерье, я объяснил, что сочту за счастье и за честь… Прямо сказал, что сыта будет, ну а нарядов, театров, балов — этого ничего не будет, разве впоследствии, когда цели достигну. Пустив таинственную фразу, можно подкупить воображение. Я ведь знал, что толстый лавочник во всяком случае ей гаже меня и что я, стоя у ворот, являюсь освободителем.

Постойте: разумеется, я ей о благодеянии тогда ни полслова;

Постойте, если всю эту грязь припоминать, то припомню и последнее свинство: я стоял, а в голове шевелилось: ты высок, строен, воспитан и — и наконец, говоря без фанфаронства, ты недурен собой.

Она тут же у ворот долго думала, прежде чем сказала «да». Так задумалась, так задумалась, что я уже спросил было: «Ну что ж?»

— Подождите, я думаю.

«Неужели, думаю, она между мной и купцом выбирает?» О, тогда я еще не понимал! Я ничего, ничего еще тогда не понимал! До сегодня не понимал!

А кто был для нее тогда хуже — я аль купец? Купец или закладчик, цитующий Гете? Это еще вопрос!

О, из какой грязи я тогда ее вытащил! Ведь должна же она была это понимать, оценить мой поступок!

Принимая ее в дом свой, я хотел полного уважения. Я хотел, чтоб она стояла предо мной в мольбе за мои страдания — и я стоил того. О, я всегда был горд, я всегда хотел или всего, или ничего!

Кто у нас тогда первый начал?

Никто. Само началось с первого шага. Почему, почему мы с самого начала принялись молчать? Сначала ведь ссор не было, а тоже молчание. Она всё как-то, помню, тогда исподтишка на меня глядела; я, как заметил это, и усилил молчание. Правда, это я на молчание напер, а не она. С ее стороны раз или два были порывы, бросалась обнимать меня; но так как порывы были болезненные, истерические, а мне надо было твердого счастья, с уважением от нее, то я принял холодно.

Позвольте-с: я знал, что женщина, да еще шестнадцати лет, не может не подчиниться мужчине вполне. В женщинах нет оригинальности, это — это аксиома, даже и теперь, даже и теперь для меня аксиома! Что ж такое, что там в зале лежит: истина есть истина И что ж, повторяю, что вы мне указываете там на столе? Да разве это оригинально, что там на столе? О-о!

Слушайте: в любви ее я был тогда уверен. Ведь бросалась же она ко мне и тогда на шею. Любила, значит, вернее — желала любить. Да, вот так это и было: желала любить, искала любить.

Вы думаете, я ее не любил? Видите ли: тут ирония, тут вышла злая ирония судьбы и природы! Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще! (Моя, в частности!) Я ведь понимаю же теперь, что я в чем-то тут ошибся! Тут что-то вышло не так. Всё было ясно, план мой был ясен как небо: «Суров, горд и в нравственных утешениях ни в чьих не нуждается, страдает молча». И как догадается об этом когда-нибудь, то оценит вдесятеро и падет в прах, сложа в мольбе руки». Вот план. Но тут я что-то забыл или упустил из виду.

Ссоры начались с того, что она вдруг вздумала выдавать деньги по-своему, ценить вещи выше стоимости. Я не согласился.

Тогда я объявил спокойно, что деньги мои, что я имею право смотреть на жизнь моими глазами, и — что когда я приглашал ее к себе в дом, то ведь ничего не скрыл от нее.

Она вдруг вскочила, вдруг вся затряслась и — что бы вы думали — вдруг затопала на меня ногами; это был зверь, это был припадок, это был зверь в припадке. Я оцепенел от изумления: такой выходки я никогда не ожидал. Но не потерялся, я даже не сделал движения и опять прежним спокойным голосом прямо объявил, что с сих пор лишаю ее участия в моих занятиях. Она захохотала мне в лицо и вышла из квартиры.

Дело в том, что выходить из квартиры она не имела права. Без меня никуда, таков был уговор еще в невестах. К вечеру она воротилась; я ни слова.

Назавтра я запер кассу и направился к теткам. «Тут, говорит, офицер, Ефимович, поручик, бывший ваш прежний товарищ в полку, замешан». Я был очень изумлен. Этот Ефимович более всего зла мне нанес в полку, что с ним у ней уже назначено свидание и что всем делом орудует одна прежняя знакомая теток, Юлия Самсоновна, вдова, да еще полковница, — «к ней-то, дескать, ваша супруга и ходит теперь».

Всего мне стоило это дело рублей до трехсот, устроено было так, что я буду стоять в соседней комнате, за притворенными дверями, и слышать первый rendez-vous[[1]](#footnote-1) наедине моей жены с Ефимовичем. В ожидании же, накануне, произошла у меня с ней одна краткая, но слишком знаменательная для меня сцена.

Воротилась она перед вечером, села на постель, смотрит на меня насмешливо— А правда, что вас из полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти струсили

**Зак** — Правда; меня, по приговору офицеров, попросили из полка удалиться, хотя, впрочем, я сам уже перед тем подал в отставку.

**К** — Выгнали как труса?

**Зак** — Да, они присудили как труса. Но я отказался от дуэли не как трус, а потому, что не захотел подчиниться их тираническому приговору и вызывать на дуэль, когда не находил сам обиды. Знайте, — не удержался я тут, — что восстать действием против такой тирании и принять все последствия — значило выказать гораздо более мужества, чем в какой хотите дуэли.

**К** — А правда, что вы три года потом по улицам в Петербурге как бродяга ходили, и по гривеннику просили, и под биллиардами ночевали?

**Зак** — Я и на Сенной в доме Вяземского ночевывал. Да, правда; в моей жизни было потом, после полка, много позора и падения, но не нравственного падения, потому что я сам же первый ненавидел мои поступки даже тогда. Это было лишь падение воли моей и ума и было вызвано лишь отчаянием моего положения. Но это прошло…

**К** — О, теперь вы лицо — финансист!— Вы, однако ж, мне об этом ничего не сказали до свадьбы?

Я не ответил, и она ушла.

Итак, назавтра я стоял в этой комнате за дверями и слушал, как решалась судьба моя, а в кармане моем был револьвер. Она смеялась ему в глаза над его объяснениями в любви, над его жестами, над его предложениями. Из ненависти только ко мне, напускной и порывистой, она, неопытная, могла решиться затеять это свидание, но как дошло до дела — то у ней тотчас открылись глаза. Этот шут под конец совсем осовел и сидел нахмурившись, едва отвечая

О, конечно, я слишком убедился в том, сколь она меня тогда ненавидела, но убедился и в том, сколь она непорочна. Я прекратил сцену вдруг, отворив двери. Ефимович вскочил, я взял ее за руку и пригласил со мной выйти.

Затем всю дорогу до дома ни слова. Придя домой, она села на стул и уперлась в меня взглядом. Она была чрезвычайно бледна и, кажется, серьезно убеждена что я убью ее из револьвера. Но я молча вынул револьвер из кармана и положил на стол. Револьвер этот был ей уже знаком. Она в первые дни, как вошла ко мне в дом, очень интересовалась этим револьвером, и я объяснил даже ей устройство и систему, кроме того, убедил раз выстрелить в цель. Не обращая внимания на ее испуганный взгляд, я, полураздетый, лег на постель. Она легла, тоже одетая, у стены, на диване. В первый раз не легла со мной

Теперь это страшное воспоминание…

Я проснулся утром, я думаю, Я проснулся разом с полным сознанием и вдруг открыл глаза. Она стояла у стола и держала в руках револьвер. Она не видела, что я проснулся и гляжу. И вдруг я вижу, что она стала надвигаться ко мне с револьвером в руках. Я быстро закрыл глаза и притворился крепко спящим.

Она дошла до постели и стала надо мной. Я слышал всё; хоть и настала мертвая тишина, но я слышал эту тишину. Тут произошло одно судорожное движение — и я вдруг, неудержимо, открыл глаза против воли. Она смотрела прямо на меня, мне в глаза, и револьвер уже был у моего виска. Глаза наши встретились. Но мы глядели друг на друга не более мгновения. Я с силой закрыл глаза

Тишина продолжалась, и вдруг я ощутил у виска, у волос моих, холодное прикосновение железа. Вы спросите: твердо ли я надеялся, что спасусь? Отвечу вам, как перед богом: не имел никакой надежды, кроме разве одного шанса из ста. Для чего же принимал смерть? А я спрошу: на что мне была жизнь после револьвера, поднятого на меня обожаемым мною существом? Кроме того, я знал всей силой моего существа, что между нами в это самое мгновение идет борьба, страшный поединок на жизнь и смерть, поединок вот того самого вчерашнего труса, выгнанного за трусость товарищами. Я знал это, и она это знала.

Сознание, однако ж, кипело; секунды шли, тишина была мертвая; она всё стояла надо мной, — и вдруг я вздрогнул от надежды! Я быстро открыл глаза. Ее уже не было в комнате. Я встал с постели: я победил, — и она была навеки побеждена!

Я вышел к самовару. Я сел к столу молча и принял от нее стакан чая. Минут через пять я на нее взглянул. Она была страшно бледна, еще бледнее вчерашнего, и смотрела на меня. И вдруг — и вдруг, видя, что я смотрю на нее, она бледно усмехнулась бледными губами, с робким вопросом в глазах. «Стало быть, всё еще сомневается и спрашивает себя: знает он иль не знает, видел он иль не видел?» Я равнодушно отвел глаза. После чая запер кассу, пошел на рынок и купил железную кровать и ширмы. Это была кровать для нее, но я ей не сказал ни слова. И без слов поняла, через эту кровать, что я «всё видел и всё знаю» и что сомнений уже более нет. На ночь я оставил револьвер как всегда на столе. Ночью она молча легла в эту новую свою постель

Ночью с нею сделался бред, а наутро горячка. Она пролежала шесть недель.

…Шесть недель болезни мы с Лукерьей ходили тогда за ней день и ночь

Когда она встала совсем, то тихо и молча села в моей комнате за особым столом, который я тоже купил для нее в это время… Да, это правда, мы совершенно молчали

Да, тогда случилось со мной нечто странное и особенное, иначе не умею назвать: я восторжествовал, и одного сознания о том оказалось совершенно для меня довольно.

Она была единственным человеком, которого я готовил себе, а другого и не надо было, — и вот она всё узнала; она узнала по крайней мере, что несправедливо поспешила присоединиться к врагам моим. Эта мысль восхищала меня.

Мне случилось в эту зиму нарочно сделать несколько добрых поступков. Я простил два долга, я дал одной бедной женщине без всякого заклада. И жене я не сказал про это, и вовсе не для того, чтобы она узнала, сделал; но женщина сама пришла благодарить, и чуть не на коленях. Таким образом огласилось; мне показалось, что про женщину она действительно узнала с удовольствием.

Но пелена висела передо мною и слепила мой ум. Роковая, страшная пелена! Как это случилось, что всё это вдруг упало с глаз и я вдруг прозрел и всё понял! Это случилось перед вечером, часов в пять, после обеда…

Она тогда сидела за работой, наклонив голову к шитью, и не видала, что я гляжу на нее.

Я сидел у кассы и вел расчет. Вдруг слышу, что она, тихо-тихо… запела.

Эта новость произвела на меня потрясающее впечатление

В первые минуты, явилось вдруг недоумение и страшное удивление, страшное и странное, болезненное и почти что мстительное: «Поет, и при мне! Забыла она про меня, что ли?»

Весь потрясенный встал, взял шляпу и вышел, как бы не соображая.

Падала, падала с глаз пелена! Коль запела при мне, так про меня позабыла, — вот что было ясно и страшно. Это сердце чувствовало. Но восторг сиял в душе моей и пересиливал страх.

Я вошел в комнату. Я прямо подошел и сел подле на стул, вплоть, как помешанный. Голос мой срывался и не слушался. Да я и не знал, что сказать, а только задыхался.

— Поговорим… знаешь… скажи что-нибудь!

Она вздрогнула и отшатнулась в сильном испуге, глядя на мое лицо, но вдруг — строгое удивление выразилось в глазах ее «Так тебе еще любви? любви?» — как будто спросилось вдруг в этом удивлении, хоть она и молчала. Но я всё прочел, всё. Всё во мне сотряслось, и я так и рухнул к ногам ее.

Но, верите ли, восторг кипел в моем сердце. Я целовал ее ноги в упоении и в счастье. Ей было страшно стыдно, что я целую ее ноги, и она отнимала их, но я тут же целовал то место на полу, где стояла ее нога. Наступала истерика, я это видел, руки ее вздрагивали, — я об этом не думал и всё бормотал ей, что я ее люблю, что я не встану, «дай мне целовать твое платье… так всю жизнь на тебя молиться…» Не знаю, не помню, — и вдруг она зарыдала и затряслась; наступил страшный припадок истерики. Я испугал ее.

Когда прошел припадок, то, присев на постели, она с страшно убитым видом схватила мои руки и просила меня успокоиться: «Полноте, не мучьте себя, успокойтесь!» — и опять начинала плакать. Весь этот вечер я не отходил от нее. Я всё ей говорил, что повезу ее в Булонь купаться в море. Она слушала и всё боялась.

«больше я ничего, ничего не спрошу у тебя, — повторял я поминутно, — не отвечай мне ничего, не замечай меня вовсе, и только дай из угла смотреть на тебя, обрати меня в свою вещь, в собачонку…» Она плакала.

**К** — А я думала, что вы меня оставите так,  — вдруг вырвалось у ней невольно.

О, это было самое главное, самое роковое ее слово и самое понятное для меня в тот вечер,

Всё оно объяснило мне, всё, но пока она была подле, перед моими глазами, я неудержимо надеялся

О, восторг, восторг заливал меня! Я ждал только завтрашнего дня. «Она завтра проснется, и я ей всё это скажу, и она всё увидит». Я с безумием ждал утра.

Ошибка тоже была, что я на нее смотрел с восторгом; надо было скрепиться, а то восторг пугал. Но ведь и скрепился же я, я не целовал уже более ее ног. Я ни разу не показал виду, что… ну, что я муж, — о, и в уме моем этого не было, я только молился! Но ведь нельзя же было совсем молчать, ведь нельзя же было не говорить вовсе!

Тут я, сдуру-то, не сдержавшись, рассказал, в каком я был восторге, когда, стоя тогда за дверью, слушал ее поединок, поединок невинности с той тварью.

Она закрылась руками и зарыдала… Тут уж и я не выдержал: опять упал перед нею, опять стал целовать ее ноги. Это было вчера вечером, а наутро…

Наутро?! Безумец, да ведь это утро было сегодня, еще давеча, только давеча!

Слушайте и вникните: ведь когда мы сошлись давеча у самовара, то она даже сама поразила меня своим спокойствием, вот ведь что было! Но вдруг она подходит ко мне, становится сама передо мной и, сложив руки начала говорить мне, что она преступница, что она это знает, что преступление ее мучило всю зиму, мучает и теперь… что она слишком ценит мое великодушие… «я буду вашей верной женой, я вас буду уважать…»

Тут я вскочил и как безумный обнял ее! Я целовал ее, целовал ее лицо, в губы, как муж, в первый раз после долгой разлуки. И зачем только я давеча ушел, всего только на два часа… наши заграничные паспорты… О боже! Только бы пять минут, пять минут раньше воротиться!.. А тут эта толпа в наших воротах, эти взгляды на меня… о господи!

**Лук** --- когда барин вышел из дому, и всего-то минут за двадцать каких-нибудь до прихода, — я вдруг вошла к барыне в комнату что-то спросить, не помню, и увидала, что образ ее (тот самый образ богородицы) у ней вынут, стоит перед нею на столе, а барыня как будто сейчас только перед ним молилась. «Что вы, барыня?» — «Ничего, Лукерья, ступай… Постой, Лукерья», — подошла к ней и поцеловала ее. «Счастливы вы, говорю, барыня?» — «Да, Лукерья» — «Давно, барыня, следовало бы барину к вам прийти прощения попросить… Слава богу, что вы помирились» — «Хорошо, говорит, Лукерья, уйди, Лукерья», — и улыбнулась этак, да странно так. Так странно, что я вдруг через десять минут воротилась посмотреть на нее: «Стоит она у стены, у самого окна, руку приложила к стене, а к руке прижала голову, стоит этак и думает. И так глубоко задумавшись стоит, что и не слыхала, как я стою и смотрю на нее из той комнаты. Вижу я, как будто она улыбается, стоит, думает и улыбается. Посмотрела я на нее, повернулась тихонько, вышла, а сама про себя думаю, только вдруг слышу, отворили окошко. Я тотчас пошла сказать, что „свежо, барыня, не простудились бы вы“, и вдруг вижу, она стала на окно и уж вся стоит, во весь рост, в отворенном окне, ко мне спиной, в руках образ держит. Сердце у меня тут же упало, кричу: „Барыня, барыня!“ Она услышала, двинулась было повернуться ко мне, да не повернулась, а шагнула, образ прижала к груди и — и бросилась из окошка!»

**ЗАК ---**Я только помню, что, когда я в ворота вошел, она была еще теплая. Главное, они все глядят на меня. Сначала кричали, а тут вдруг замолчали и все передо мной расступаются и… и она лежит с образом. Помню только того мещанина: он всё кричал мне, что «с горстку крови изо рта вышло, с горстку, с горстку!»,

— Да что такое «с горстку»? — завопил я, говорят, изо всей силы, поднял руки и бросился на него… О, дико, дико! Недоразумение! Неправдоподобие! Невозможность

Для чего, зачем умерла эта женщина? Испугалась любви моей, обещаний слишком много надавала, испугалась, что сдержать нельзя, — ясно. Тут есть несколько обстоятельств совершенно ужасных.

Потому что для чего она умерла? все-таки вопрос стоит. Вопрос стучит, у меня в мозгу стучит. Я бы и оставил ее только так, если б ей захотелось, чтоб осталось так.

Странно ужасно: почему мне ни разу не пришло в голову, во всю зиму, что она меня презирает? Ах, пусть, пусть презирала бы, хоть всю жизнь, но — пусть бы она жила, жила! Давеча еще ходила, говорила. Совсем не понимаю, как она бросилась из окошка!

О, нам еще можно было сговориться. Еще бы несколько слов, и она бы всё поняла.

Тут явное недоразумение, как хотите. Со мной еще можно бы жить. Опоздал!!!

Какая она тоненькая в гробу, как заострился носик! И ведь как упала — ничего не размозжила, не сломала!

Измучил я ее — вот что!

Ну, ты бы меня не любила, — и пусть, ну что же? Всё и было бы так, всё бы и оставалось так. Так бы и жили. О, пусть всё, только пусть бы она открыла хоть раз глаза! О, в одном бы взгляде всё поняла!

Люди на земле одни — вот беда! Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? Всё мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля! «Люди, любите друг друга» — кто это сказал? чей это завет? Стучит маятник бесчувственно, противно Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду?

**3.**

**П.П**. — Не ждали гостя, Родион Романыч. Давно завернуть собирался, прохожу, думаю — почему не зайти минут на пять проведать. Куда-то собрались? Не задержу.

**Р.Р**. — Да садитесь, Порфирий Петрович, садитесь,

**П.П**. — Объясниться пришел, голубчик Родион Романыч, объясниться-с! Раздражительны вы уж очень, Родион Романыч, от природы-с; даже уж слишком-с, при всех-то других основных свойствах вашего характера и сердца, потому и льщу себя надеждой, что отчасти постиг-с. Ну, уж, конечно, и я могу, рассудить, что не всегда этак случается, чтобы вот встал человек, да и брякнул вам всю подноготную. Это хоть и случается, в особенности, когда человека из последнего терпения выведешь, но, во всяком случае, редко. Это и я мог рассудить. Нет, думаю, мне бы хоть черточку! Хоть бы самую махонькую черточку, только одну, но только такую, чтоб уж этак руками можно взять было, чтоб уж вещь была, а не то, что одну эту психологию. Потому, думал я, если человек виновен, то уж, конечно, можно, во всяком случае, чего-нибудь существенного от него дождаться; позволительно даже и на самый неожиданный результат рассчитывать. На характер ваш я тогда рассчитывал, Родион Романыч, больше всего на характер-с! Надеялся уж очень тогда на вас.

**Р.Р**. — Да вы… да что же вы теперь-то все так говорите,

**П.П**. — Что так говорю? А объясниться пришел-с, так сказать, долгом святым почитаю. Хочу вам все дотла изложить, как все было, всю эту историю всего этого тогдашнего, так сказать, омрачения. Много я заставил вас перестрадать, Родион Романыч. Я не изверг-с. Ведь понимаю же и я, каково это все перетащить на себе человеку, удрученному, но гордому, властному и нетерпеливому, в особенности нетерпеливому! Я вас, во всяком случае, за человека наиблагороднейшего почитаю-с, и даже с зачатками великодушия-с, хоть и не согласен с вами во всех убеждениях ваших, о чем долгом считаю заявить наперед, прямо и с совершенною искренностью, ибо прежде всего не желаю обманывать. Рассказывать все по порядку, как это вдруг тогда началось, вряд ли нужно, я думаю, даже и лишнее. Да и вряд ли я смогу-с. Потому, как это объяснить обстоятельно? Первоначально слухи пошли. О том, какие это были слухи и от кого и когда… и по какому поводу, собственно, до вас дело дошло, — тоже, я думаю, лишнее. Все ведь это одно к одному-с, одно к одному-с, Родион Романыч, голубчик! Ну как тут было не повернуться в известную сторону? Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с. Вспомнил тут я и вашу статейку, в журнальце-то, помните, еще в первое-то ваше посещение в подробности о ней говорили. Я тогда поглумился, но это для того, чтобы вас на дальнейшее вызвать. Повторяю, нетерпеливы и больны вы очень, Родион Романыч. Что вы смелы, заносчивы, серьезны и… чувствовали, много уж чувствовали, все это я давно уж знал-с. Мне все эти ощущения знакомы, и статейку вашу я прочел как знакомую. В бессонные ночи и в исступлении она замышлялась, с подыманием и стуканьем сердца, с энтузиазмом подавленным. А опасен этот подавленный, гордый энтузиазм в молодежи! Я тогда поглумился, а теперь вам скажу, что ужасно люблю вообще, то есть как любитель, эту первую, юную, горячую пробу пера. Дым, туман, струна звенит в тумане. Статья ваша нелепа и фантастична, но в ней мелькает такая искренность, в ней гордость юная и неподкупная, в ней смелость отчаяния; она мрачная статья-с, да это хорошо-с.

Статейку вашу я прочел, да и отложил, и… как отложил ее тогда, да и подумал: «Ну, с этим человеком так не пройдет!» Ну, так как же, скажите теперь, после такого предыдущего не увлечься было последующим! Ах, господи! да разве я говорю что-нибудь? Разве я что-нибудь теперь утверждаю? Я тогда только заметил. Чего тут, думаю? Тут ничего, то есть ровно ничего, и, может быть, в высшей степени ничего. Да и увлекаться этак мне, следователю, совсем даже неприлично. Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое; когда цитируется фраза, что кровь «освежает»; когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Тут книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце; тут видна решимость на первый шаг, но решимость особого рода, — решился, да как с горы упал или с колокольни слетел, да и на преступление словно не своими ногами пришел. Дверь за собой забыл притворить, а убил, двух убил, по теории. Убил, да и денег взять не сумел, а что успел захватить, то под камень снес. Мало было ему, что муку вынес, когда за дверью сидел, а в дверь ломились и колокольчик звонил, — нет, он потом уж на пустую квартиру, в полубреде, припомнить этот колокольчик идет, холоду спинного опять испытать потребовалось… Ну да это, положим, в болезни, а то вот еще: убил, да за честного человека себя почитает, людей презирает, бледным ангелом ходит

**Р.Р**. — Так… кто же… убил?..

**П.П**. — Как кто убил?.. да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с… Вы меня, Родион Романыч, кажется, не так поняли-с, оттого так и изумились. Я именно пришел с тем, чтоб уже все сказать и дело повести на открытую.

**Р.Р**. — Это не я убил,

**П.П**. — Нет, это вы-с, Родион Романыч, вы-с, и некому больше-с,

**Р.Р**. — Опять вы за старое, Порфирий Петрович! Все за те же ваши приемы: как это вам не надоест, в самом деле?

**П.П**. — Э, полноте, что мне теперь приемы! Другое бы дело, если бы тут находились свидетели; а то ведь мы один на один шепчем. Сами видите, я не с тем к вам пришел, чтобы гнать и ловить вас, как зайца. Признаетесь, аль нет — в эту минуту мне все равно. Про себя-то я и без вас убежден.

**Р.Р**. — А коли так, зачем вы пришли? Я вам прежний вопрос задаю: если вы меня виновным считаете, зачем не берете вы меня в острог?

**П.П**. — Ну, вот это вопрос! По пунктам вам и отвечу: во-первых, взять вас так прямо под арест мне невыгодно.

**Р.Р**. — Как невыгодно! Коли вы убеждены, так вы должны…

**П.П**. — Эх, что ж, что я убежден? Ведь все это покамест мои мечты-с. И хоть я вас все-таки посажу и даже сам вот я пришел (совсем не по-людски) вам обо всем вперед объявить, а все-таки прямо вам говорю (тоже не по-людски), что мне это будет невыгодно. Ну-с, во-вторых, я потому к вам пришел…

**Р.Р**. — Ну да, во-вторых?

**П.П**. — Потому что, как я уж и объявил давеча, считаю себя обязанным вам объяснением. Не хочу, чтобы вы меня за изверга почитали, тем паче, что искренно к вам расположен, верьте не верьте. Вследствие чего, в-третьих, и пришел к вам с открытым и прямым предложением — учинить явку с повинною. Это вам будет бесчисленно выгоднее, да и мне тоже выгоднее, — потому с плеч долой. Ну что, откровенно или нет с моей стороны?

**Р.Р**. — Послушайте, Порфирий Петрович, вы ведь сами говорите: одна психология, а между тем въехали в математику. Ну что, если и сами вы теперь ошибаетесь?

**П.П**. — Нет Родион Романыч, не ошибаюсь. Черточку такую имею. Черточку-то эту я и тогда ведь нашел-с; послал господь!

**Р.Р**. — Какую черточку?

**П.П**. — Не скажу какую, Родион Романыч. Да и, во всяком случае, теперь и права не имею больше отсрочивать; посажу-с. Так вы рассудите: мне теперь уж все равно, а следственно, я единственно только для вас. Ей-богу, лучше будет, Родион Романыч!

**Р.Р**. — Ведь это не только смешно, это даже уж бесстыдно. Ну, будь я даже виновен (чего я вовсе не говорю), ну с какой стати мне к вам являться с повинною, когда сами вы уж говорите, что я сяду к вам туда на покой?

**П.П**. — Эх, Родион Романыч, не совсем словам верьте; может, и не совсем будет на покой! Ведь это только теория, да еще моя-с, а я вам что за авторитет? Я, может быть, и сам от вас кой-что даже и теперь скрываю-с. Не все же мне вам так взять да и выложить, хе-хе! Второе дело: как какая выгода? Да известно ли вам, какая вам за это воспоследует сбавка? Ведь вы когда явитесь-то, в какую минуту? Вы это только рассудите! Когда другой уже на себя преступление принял и все дело спутал? А я вам, вот самим богом клянусь, так «там» подделаю и устрою, что ваша явка выйдет как будто совсем неожиданная. Всю эту психологию мы совсем уничтожим, все подозрения на вас в ничто обращу, так что ваше преступление вроде помрачения какого-то представится, потому, по совести, оно помрачение и есть. Я честный человек, Родион Романыч, и свое слово сдержу.

**Р.Р**. — Эх, не надо! Не стоит! Не надо мне совсем вашей сбавки!

**П.П**. — Ну вот этого-то я и боялся! вот этого-то я и боялся, что не надо вам нашей сбавки. Эй, жизнью не брезгайте! Много ее впереди еще будет. Как не надо сбавки, как не надо! Нетерпеливый вы человек!

**Р.Р**. — Чего впереди много будет?

**П.П**. — Жизни! Вы что за пророк, много ль вы знаете? Ищите и обрящете. Вас, может, бог на этом и ждал. Да и не навек она, цепь-то.

**Р.Р.** — Сбавка будет… — засмеялся Раскольников.

**П.П**. — А что, стыда буржуазного, что ли, испугались? Это может быть, что и испугались, да сами того не знаете, — потому молодо! А все-таки не вам бы бояться, али там стыдиться явки с повинною.

**Р.Р.** — Э-эх, наплевать!

**П.П**. — То-то наплевать! Изверились да и думаете, что я вам грубо льщу; да много ль вы еще и жили-то? Много ль понимаете-то? Теорию выдумал, да и стыдно стало, что сорвалось, что уж очень не оригинально вышло! Вышло-то подло, это правда, да вы-то все-таки не безнадежный подлец. Совсем не такой подлец! По крайней мере, долго себя не морочил, разом до последних столбов дошел. Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, — если только веру иль бога найдет. Ну, и найдите, и будете жить. Вам, во-первых, давно уже воздух переменить надо. Что ж, страданье тоже дело хорошее. Пострадайте. Миколка-то, может, и прав, что страданья хочет. Знаю, что не веруется, — а вы лукаво не мудрствуйте; отдайтесь жизни прямо, не рассуждая; не беспокойтесь, — прямо на берег вынесет и на ноги поставит. На какой берег? А я почем знаю? Я только верую, что вам еще много жить. Знаю, что вы слова мои как рацею теперь принимаете заученную; да, может, после вспомните, пригодится когда-нибудь; для того и говорю. Еще хорошо, что вы старушонку только убили. А выдумай вы другую теорию, так, пожалуй, еще и в сто миллионов раз безобразнее дело бы сделали! Еще бога, может, надо благодарить; почем вы знаете: может, вас бог для чего и бережет. А вы великое сердце имейте да поменьше бойтесь. Великого предстоящего исполнения-то струсили? Нет, тут уж стыдно трусить. Коли сделали такой шаг, так уж крепитесь. Тут уж справедливость. Вот исполните-ка, что требует справедливость. Знаю, что не веруете, а ей-богу, жизнь вынесет. Самому после слюбится. Вам теперь только воздуху надо, воздуху!..

**3.**

**Соня** – Я, Матерь Божия ныне с молитвою перед Твоим образом ярким

сиянием. Не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью иль

покаянием. Не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете

безродного.

(далее одновременно Соня и Раскольников)

**Р.Р**.- Любите ли вы уличное пение? Я люблю. Я люблю, как поют под

**Соня** – Но я вручить хочу душу невинную теплой Заступнице мира

**Р.Р**.- шарманку в сырой и темный осенний вечер. Непременно в

**Соня** – холодного. Окружи счастием душу достойную, дай ей

**Р.Р**.- сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица.

**Соня** – сопутников, полных внимания, молодость светлую, старость

спокойную, сердцу незлобному мир упования…

**Р.Р**.- А еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветра,

знаете, и сквозь него фонари с газом блистают…

**Соня** – Кто там?

**Р.Р**. – Это я… к вам. Я поздно. Одиннадцать часов есть?

**Соня** – Есть… ах да, есть. Сейчас у хозяев часы пробили, и я сама слышала, - есть.

**Р.Р**. – Я к вам в последний раз пришел. Я может, вас больше не увижу. Я пришел одно слово сказать… Господи, какая же вы худенькая, вон какая у вас рука, пальцы-то как у мертвой.

**Соня** – Я и всегда такая была

**Р.Р.** – Когда и дома жили?

**Соня** – Да.

**Р.Р**. – Катерина Ивановна ведь вас чуть не била, у отца-то?

**Соня** – Била?.. Ах, что вы это, нет!

**Р.Р.** – Так значит, вы ее любите?

Соня – Её? А к-а-к же! Ах, вы ее… Если б вы только знали, ведь она совсем как ребенок, ведь у нее ум совсем как помешан от горя. А какая она умная была, какая великодушная, какая добрая! Била? Да, что вы это, Господи, била… Ну, а хоть бы и била, так что ж, ну так что ж? Вы ничего, ничего не знаете. Это такая несчастная и больная. Она чистая. Она вот верит, что во всем справедливость должна быть и требует, и хоть мучайте ее, а она несправедливого не сделает… Она вот только сама не знает, как это нельзя, чтобы справедливо все было в людях. И раздражается, как ребенок, да ведь как ребенок…

**Р.Р.** – Ну, а с вами что теперь будет? Они ведь на вас остались. Оно, правда, и прежде все было на вас, и покойник на похмелье к вам же ходил просить… Ну, а вот теперь-то что будет? Катерина Ивановна в чахотке злой, она умрет скоро. Куда вы их возьмете, коль не к вам? Ну, а коли заболеете и в больницу вас свезут, что тогда будет?

**Соня** – Этого не может быть…

**Р.Р.** – Почему же не может быть? Ведь не застрахованы же вы. Что тогда с детьми станется? На улицу пойдут всей гурьбой.

**Соня** – Бог этого не допустит.

**Р.Р.** – Ну, а копить нельзя? На черный день откладывать?

**Соня** – Нет.

**Р.Р.** – Ну да, разумеется… А пробовали?

**Соня** – Пробовала…

**Р.Р.** – Сорвалось. Ну да, разумеется, что и спрашивать… Вы от Капернаумова нанимаете?

**Соня** – Да.

**Р.Р.** – Они там, за дверью?

**Соня** – Да, и них такая же комната, как эта.

**Р.Р.** – Все в одной?

**Соня** – Да, в одной.

**Р.Р.** – Я бы в вашей комнате по ночам боялся.

**Соня** – Хозяева очень добрые, очень хорошие. И здесь вся мебель и все- все хозяйское. И дети их ко мне часто ходят.

**Р.Р.** – Косноязычные…

**Соня** – Только старший один заикается, а остальные просто больные, но не заикаются

**Р.Р**. – С сестрицей вашей, наверное, то же самое будет.

**Соня** – Нет, нет, этого не может быть. Бог такого ужаса не допустит. Ее Бог защитит, Бог!

**Р.Р.** – Да, может, и Бога вовсе нет! Вот нам представляется вечность, как идея, которую понять нельзя. Как что-то огромное-огромное. А представьте себе, будет там одна маленькая комнатка, ну вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки – вот и вся вечность. Мне в этом роде что-то мерещится… Соня, у меня сердце злое, да я ведь потому и пришел, что я зол. Я трус, я подлец… Нет, не то… Соня, я давеча сказал, что приду и скажу кто Лизавету убил… Угадай!.. Я не хотел… не хотел Лизавету убивать. Я только старуху пришел убить, а тут Лизавета вошла… Я только старуху… Да я ведь только вошь убил, бесполезную, гадкую, зловредную…

**Соня** – Это человек-то вошь?

**Р.Р.** – Не так все это, Соня, не так… Понимаешь, я прежде думал, что если ждать, когда все станут умными, то уж очень это долго будет. Потом я узнал, что не будет этого никогда, не переменится человек и не переделать его никому. Труда не стоит тратить. Потому что это закон, Соня, понимаешь, закон. И вот теперь я знаю, что только тот, кто силен умом и духом, тот над ними и властелин, кто многое посмеет, тот у них и прав, кто на большее сможет плюнуть, тот и законодатель. И мне вдруг ясно, ну вот, как солнце стало. Как же это? Ведь ни один до сих пор не смел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-запросто все за хвост и стряхнуть к черту… Я ведь только осмелиться захотел и убил… Только осмелиться…

**Соня** – И убили, убили!..

**Р.Р.** – Да ведь как убил-то. Да разве ж так убивают. Я ведь не старушонку эту, я себя убил, а не старушоку, так-таки разом и ухлопал себя навеки. Я принцип убил. А старушонку эту… черт ее убил, а не я.

**Соня** – Господи, и как же вы мучаетесь-то. И нет теперь тебя несчастнее на всем свете. И почему же ты раньше ко мне не приходил, и отчего же я прежде-то тебя не знала…Ах, что вы это, что вы это! Передо мной! Да я ведь великая грешница! Встаньте!

**Р.Р.** – Ну, что мне теперь делать, говори.

**Соня** – Что делать? Что делать… А ты встань. Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекресток и поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись на все четыре стороны и скажи всем вслух: «Я убил» и тогда Бог тебе опять жизни пошлет… Пойдешь?

**Р.Р.** – Нет, не пойду я к ним, Соня.

**Соня** – А жить-то как будешь? Жить с чем будешь?

**Р.Р.** – Не будь ты ребенком, Соня! Зачем же я к ним пойду? В чем я перед ними виноват? Да они сами людей миллионами изводят, да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня. Не смогут они понять ничего-ничего, да и не достойны понять. Не будь ребенком, Соня.

**Соня** – Но ведь замучаешься же, замучаешься.

**Р.Р**. – Привыкну… Так ты очень-то Богу молишься, Соня?

**Соня** – А чтобы я без Бога-то была?

**Р.Р.** – Ну, а Бог, что он тебе за это делает?

**Соня** –Молчите, вы не стоите… Все делает

**Р.Р.** – Это откуда?

**Соня** – Это Лизаветино, мне принесли

**Р.Р.** – Где здесь про Лазаря? Про воскресение Лазаря, отыщи мне, Соня.

**Соня** – Вы не там смотрите. Это в четвертом евангелии

**Р.Р.** – Найди и прочти мне, Соня

**Соня** – Вы разве не читали?

**Р.Р.** – Давно, читай.

**Соня** – Зачем вам, вы не веруете.

**Р.Р**. – Читай, я так хочу.

**Соня** – И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии, чтобы утешить их в печали о брате их. Марфа услышал, что идет Иисус, пошла навстречу Ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала

(далее одновременно Соня и Раскольников)

**Р.Р.** – Мне все грезится, и все странные такие грезы. Все

**Соня** – «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и

**Р.Р.** – представляется мне, будто я где-то в Африке, в Египте, в каком-

**Соня** – теперь я верую, что чего не попросишь Ты у Бога – даст Тебе

**Р.Р.** – то оазисе. Караван отдыхает, верблюды лежат, кругом пальмы

**Соня** – Бог» И говорит Иисус: «Воскреснет брат». Она сказала Ему:

**Р.Р.** – растут. Все обедают. А я пью воду, прямо из ручья, который тут

**Соня** – «Знаю, что воскреснет, в воскресенье, в последний день»…И

**Р.Р.** – же под боком течет и прохладно так, и такая чудесная-

**Соня** – говорит Иисус: « Я есмь воскресение и жизнь, всякий

**Р.Р.** – чудесная голубая вода бежит по разноцветным камням и по

**Соня** – верующий в меня если и умрет - оживет и всякий живущий и

**Р.Р.** –такому чистому, с золотыми блестками песку… Соня!...

**Соня** – верующий в Меня не умрет вовек»… Все о воскресении Лазаря…

**Р.Р**. –Соня, я сегодня родных бросил, мать и сестру. Я к ним теперь не пойду. У меня теперь только ты осталась. Я к тебе пришел. Ты мне нужна, я потому и пришел, я тебя выбрал… Ты ведь выдержать не сможешь, и если останешься одна, то сойдешь с ума, как и я. Нам вместе идти, по одной дороге. Пойдем… Так не оставишь меня, Соня? И сможешь ты любить такого под…

**Соня** – Есть на тебе крест? Нет. На, возьми мой, кипарисный. Возьми, ведь мой. Вместе страдать пойдем, вместе и крест понесем!

АНТРАКТ

**4**.

**И.К.** – «Ах, поехал Ванька в Питер, я не буду его ждать…» Ты и впрямь болен? Я тебя долго не задержу. Я с одним только вопросом, и, клянусь, не уйду от тебя без ответа. Была у тебя барыня, Катерина Ивановна?.. Чего ты?

**С.** – Ничего.

**И.К**. – Что ничего?

**С**. – Ну, была, ну и все вам равно. Отстаньте-с.

**И.К.** – Нет, не отстану! Говори, когда была?

**С.** – Да я думать об ней забыл… Сами, кажись, больны, ишь осунулись, лица на вас нет.

**И.К.** – Оставь мое здоровье, говори, об чем спрашивают.

**С.** – А от чего у вас глаза пожелтели, совсем белки желтые? Мучаетесь что ли очень?

**И.К.** – Слушай, я сказал, что не уйду от тебя без ответа!

**С.** – Чего вы ко мне престаете? Чего меня мучаете?

**И.К.** – Э, черт! Мне до тебя нет и дела. Ответь на вопрос и я тотчас уйду.

**С.** – Нечего мне вам отвечать!

**И.К.** – Уверяю тебя, что я заставлю тебя отвечать

**С.** – Чего вы все беспокоитесь? Это что суд-то завтра начнется? Так ведь ничего вам не будет, уверьтесь же наконец! Ступайте домой, ложитесь спокойно спать, ничего не опасайтесь.

**И.К.** – Не понимаю я тебя… Чего мне бояться завтра?

**С.** – Не по-ни-ма-ете?.. И охота же умному человеку этакую комедь из себя представлять!.. Говорю вам, нечего вам бояться. Ничего на вас не покажу, нет улик. Ишь руки трясутся. С чего у вас пальцы-то ходят? Идите домой. Не вы убили.

**И.К.** – Я знаю, что не я…

**С.** – Знаете?

**И.К.** – Говори все, гадина! Говори все!

**С.** – Ан вот вы-то и убили, коль так!

**И.К.** – Это ты все про тогдашнее? Про то, что и в прошлый раз?

**С.** – Да и в прошлый раз стояли передо мной и все понимали, понимаете и теперь.

**И.К**. – Понимаю только то, что ты сумасшедший

**С**. - Не надоест же человеку! С глазу на глаз, кажись, чего бы, кажется, друг друга морочить, комедь играть? Али все еще хотите на одного меня свалить, мне же в глаза? Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой, Личардой верным. По слову вашему дело это и совершил

**И.К.** – Совершил?.. Да разве ты убил?

**С.** – Да неужто ж вы и вправду ничего не знали?

**И.К.** – «Ах, поехал Ванька а Питер…» Знаешь что… я боюсь, что ты сон, что ты призрак передо мной.

**С.** – Никакого тут призрака нет-с, кроме на обоих-с, да еще некоторого третьего. Без сомления, он теперь, третий этот находится между нами двумя

**И.К.** – Кто он? Кто находится? Кто третий?

**С.** – Третий этот – Бог-с, самое это проведение, тут оно теперь подле нас. Только вы не ищите его, не найдете

**И.К.** – Ты солгал, что ты убил!.. Ты или сумасшедший, или дразнишь меня как и прошлый раз.

**С.** – Подождите-с…

**И.К.** – Сумасшедший!

С. – Вот-с!

**И.К.** – Что?

**С**. – Извольте взглянуть… Пальцы-то у вас все дрожат, в судороге… Все здесь, все три тыщи, хоть не считайте. Примите-с.

**И.К**. – Ты меня напугал… с этим чулком…

**С.** – Неужто… неужто вы до сих пор не знали?..

**И.К.** – Нет, не знал. Я все на Дмитрия думал. Брат! Брат!.. Слушай, ты один убил? Без брата или с братом?

**С.** – Всего только вместе с вами-с; с вами вместе убил-с, а Дмитрий Федорович как есть безвинны-с!

**И.К**. – Хорошо, хорошо… обо мне потом. Чего это я все дрожу… Слова не могу выговорить…

**С.** - Все тогда смелы были-с, «все, дескать, позволено», говорили-с, вот как испугались!.. Лимонаду не хотите, сейчас прикажу-с. Очень освежить может. Только вот это бы прежде накрыть-с.

**И.К**. – Не хочу лимонаду. Обо мне потом. Говори, как ты это сделал. Все говори…

**С.** – Об том, как это было сделано-с? Самым естественным манером сделано было-с. С ваших тех самых слов…

**И.К.** – Об моих словах потом. Расскажи только в подробностях, как ты это сделал. Все по порядку. Ничего не забудь. Подробности, главное, подробности. Прошу…

**С.** – Вы уехал, я упал тогда в погреб.

**И.К**. – В падучей или притворился?

**С.** – Понятно, что притворился, во всем притворился. С лестницы спокойно сошел-с, в самый низ, и спокойно лег-с, а как лег-с, тут и завопил. И бился, пока вынесли

**И.К.** – Стой! И все время, и потом, и в больнице все притворялся?

**С.** – Никак нет-с. На другой же день, наутро, до больницы еще, ударила настоящая. Два дня был в совершенном беспамятстве

**И.К.** – Хорошо, хорошо, продолжай дальше.

**С.** – Положили меня на эту койку, я так и знал, что за перегородку-с. Ночью стонал, только тихо. Все ждал Дмитрия Федоровича.

**И.К.** – Как ждал? К себе?

**С.** – Зачем ко мне? В дом их ждал…

**И.К**. – А если бы не пришел?

**С.** – Тогда бы ничего бы не было-с. Без них не решился бы.

**И.К**. – Хорошо, хорошо… Говори понятнее, не торопись. Главное – ничего не пропускай!

**С.** – Я ждал, что они Федора Павловича убьют-с… Это наверное-с. Потому я их уже так приготовил… в последние дни-с… а главное – те знаки им стали известны. По ихней мнительности и ярости, что в них за эти дни накопилась, беспеременно через знаки в самый дом должны были проникнуть-с. Это беспеременно. Я так их и ждал-с.

**И.К.** – Стой, Ведь если б он убил, то взял бы деньги и унес; ведь ты именно так должен был рассуждать? Что же тебе-то досталось бы после него? Я не вижу.

**С.** – Так ведь деньги-то они никогда не нашли-с. Это ведь их только я научил, что деньги под тюфяком. Только это была неправда-с. Прежде в шкатунке лежали, вот как было-с. А потом я Федора Павловича, так как они мне единственно во всем человечестве доверяли, научил пакет этот самый с деньгами в угол за образа перенесть, потому, что там совсем никто не догадается, особенно коли спеша придет. Так он там, пакет этот, у них в углу за образами и лежал-с. Так вот, если бы Дмитрий Федорович совершили это самое убийство, то ничего не найдя, или бы убежали-с, поспешая, всякого шороха боясь, как и всегда бывает с убивцами, или арестованы были-с. Так я тогда всегда мог-с, на другой день, али в ту самую ночь за образа слазить и деньги эти самые унести, все бы на Дмитрия Федоровича свалилось. Это я всегда мог надеяться.

**И.К.** – Ну, а если б он не убил, а только избил?

**С.** – Был и такой расчет, что если изобьет до бесчувствия, а я в то время и поспею взять, а потом Федору Павловичу отлепертую, что это никто как Дмитрий Федорович их избили и деньги похитили…

**И.К.** – Стой… я путаюсь. Стало быть, все же Дмитрий убил, а ты только деньги взял?

**С.** – Нет, это не они убили. Что ж, я мог бы вам и теперь сказать, что убивец они… да не хочу я теперь перед вами лгать… Потому что если вы действительно, как сам вижу, не понимали ничего доселева и не притворялись передо мной, чтоб явную вину свою на меня же в глаза свалить, то все же вы виноваты во всем, ибо про убийство знали и мне убить поручили, а сами, все знамши, уехали. Потому и хочу вам в сей вечер доказать, что главный убивец во всем здесь единый вы-с, а я только самый не главный, хоть это и я убил. А вы самый законный убивец и есть!

**И.К.** – Почему, почему я убийца? О, Боже!.. продолжай дальше. Продолжай про ту ночь.

**С.** – Дальше что же-с… Вот лежу и слышу, как будто вскрикнул барин. А Григорий Васильевич перед тем поднялись и вышли и вдруг завопили, а потом все тихо, мрак. Лежу это я, жду, сердце бьется, вытерпеть не могу. Встал, наконец, и пошел. Вижу налево окно в сад у них отперто, я и шагнул налево-то, чтобы прислушаться, живы они там или нет, и слышу, что барин мечется и охает, стало быть, жив. Эх, думаю!.. Подошел к окну, крикнул барину: «Это я, дескать». А он мне: «Был, был, убежал!» То есть Дмитрий Федорович значит были. «Григория убил!» - «Где? – шепчу ему. «там в углу», - указывает, сам тоже шепчет. «Подождите» - говорю. Пошел я в угол искать и у стены на Григория Васильевича наткнулся, весь в крови лежит, в бесчувствии. Стало быть, верно, что был Дмитрий Федорович, вскочило мне тотчас в голову и тотчас, тут же порешил все это покончить внезапно-с, так как Григорий Васильевич, если и живы, то лежа в бесчувствии, пока ничего не увидит. Один только риск был, что вдруг проснется Марфа Игнатьевна. Почувствовал я это в ту минуту, только уж жажда эта меня всего захватила, ажно дух занялся. Пришел опять под окно и говорю: «Она здесь, пришла, Аграфена Александровна пришла, просится». Так ведь и вздрогнул весь, как младенец - «Где здесь? Где?» - так и охает, а сам еще не верит. «Там, говорю, стоит, отоприте!» Глядит на меня в окно, а сам еще и верит и не верит, а отпереть боится, это уж меня-то боится, думаю. И смешно же: вдруг я эти самые знаки вздумал им тогда по раме простучать, что Грушенька, дескать, пришла, при них же в глаза. Словам-то как бы не верил, а как знаки я простучал, так тотчас же и побежали двери отворять. Отворили. Я вошел было, он стоит, телом-то меня и не пускает всего. «Где она, где она? – смотрит на меня и трепещет. Ну, думаю, уж коли меня так боится – плохо! И тут у меня ноги ослабели от страха у самого, что не пустит он меня в комнаты-то, или крикнет, али Марфа Игнатьевна прибежит, али что ни есть выйдет, я уж не помню сам, должно быть, бледен перед ним стоял. Шепчу ему: «Да там, там она под окном, как же вы, говорю, не видели?» - «А ты ее приведи, а ты ее приведи!» - «Да боится, говорю, крику испугалась, в куст спряталась. Пойдите, крикните, говорю, сами из кабинета». Побежал он, подошел к окну, свечку на окно поставил. «Грушенька, - кричит, - Грушенька, здесь ты?» Сам-то кричит, а в окно-то нагнуться не хочет, от самого этого страху, потому забоялся меня уж очень, а потому отойти от меня не смеет. « Да, вот же она, говорю» - подошел я к окну, сам весь высунулся. «Вон она в кусте, смеется вам, видите» Поверил вдруг он, так и затрясся, больно уж они влюблены были-с, да весь и высунулся в окно. Я тут схватил это самое пресс-папье чугунное, на столе у них помните, фунта три ведь в нем будет, размахнулся да сзади его в самое темя углом. Не крикнул даже. Только вдруг осел, а я в другой раз и в третий. На третьем-то почувствовал, что проломил. Они вдруг ничь и повалились, лицом кверху, все-то в крови. Осмотрел я: нет на мне крови, не брызнула. Пресс-папье обтер, положил. За образа сходил, из пакета деньги вынул, а пакет бросил на пол и ленточку эту самую подле. Воротился к себе на кровать, лег, да и думаю в страхе» «вот коли убит Григорий Васильевич совсем, так тем самым худо может произойти, а коли не убит и очнется, то очень хорошо это произойдет, потому они будут тогда свидетелем, что Дмитрий Федорович приходили, а стало быть они убили и деньги унесли». Начал я тогда от сумлений и нетерпения стонать, чтобы Марфу Игнатьевну разбудить поскорее. Встала, наконец, бросилась было ко мне, да как увидела вдруг, что нет Григория Васильевича, - выбежала и, слышу, завопили в саду. Ну, тут все это и пошло на всю ночь, я уж во всем успокоен был…

**И.К.** – Слушай. Я много хотел спросить тебя еще, но забыл… я все забываю и путаюсь… Да! Скажи ты мне хоть это одно: зачем ты пакет распечатал и тут же на полу оставил? Зачем не просто в пакете унес… Ты когда рассказывал, то мне показалось, что будто ты так говорил, что так и надо было поступить… а почему так надо – не могу понять…

**С.** – А это я так сделал по некоторой причине. Ибо будь человек знающий и привычный, вот как я, например, который эти деньги видел заранее и, может, их сам же в тот пакет ввертывал и собственными глазами смотрел, как его запечатывали и надписывали, то он бы просто сунул этот пакет в карман, не распечатывая, и с ним поскорее утек-с. Совсем другое тут Дмитрий Федорович: они об пакете только понаслышке знали, его самого не видели, а вот как достали его, примерно, будто бы из-под тюфяка, то поскорее и распечатали его тут же, чтобы справиться: есть ли а нет на самом деле эти самые деньги? А пакет тут же бросили, уже не успев рассудить, что он уликой им после них останется, потому что они вор непривычный и прежде ничего явно не крали, ибо родовые дворяне, а если теперь украсть и решились, то именно как бы не украсть, а свое собственное только взять обратно пришли.

**И.К**. – Слушай, несчастный, презренный ты человек! Неужели ты не понимаешь, что если я еще не убил тебя до сих пор, то потому только, что берегу тебя на завтрашний ответ на суде. Бог видит, может быть я был виновен, может быть, действительно я имел тайное желание, чтоб… умер отец, но, клянусь тебе, я не столь был виноват, как ты думаешь, и, может быть, не подбивал тебя вовсе. Нет, нет, не подбивал! Но все равно. Я покажу на себя сам. Завтра же, на суде. Я решил. Я все скажу, все! Но мы явимся вместе с тобой! И чтобы ты ни говорил на меня на суде, что бы ни свидетельствовал – принимаю и не боюсь тебя; сам все подтвержу! Но и ты должен пред судом сознаться! Должен, должен, вместе пойдем! Так и будет!

**С.** – Больны вы, я вижу, совсем больны. Желтые у вас совсем глаза.

**И.К**. – Вместе пойдем! А не пойдешь – все равно я один сознаюсь.

**С.** – Ничего этого не будет-с. И вы не пойдете-с.

**И.К**. – Не понимаешь ты меня!

**С**. – Слишком стыдно вам будет-с, если на себя во всем признаетесь. А пуще того бесполезно совсем, потому, я прямо ведь скажу, что ничего такого я вам не говорил никогда, а что вы или в болезни какой (а на то похоже), али уж братца мол своего пожалели, что собой пожертвовали, а на меня выдумали, так как все равно меня как за мошку считали всю вашу жизнь, а не за человека. Ну, и кто же вам поверит, ну и какое у вас есть хоть единое доказательство?

**И.К.** – Слушай, эти деньги ты показал мне теперь, конечно, чтобы меня убедить?

**С.** – Эти деньги с собой возьмите-с и унесите.

**И.К.** – Конечно унесу! Но почему же ты мне отдаешь, если из-за них убил?

**С.** – Не надо мне их вовсе! Была такая прежняя мысль, что с такими деньгами жизнь начну в Москве, али пуще того за границей, такая мечта была-с, а пуще всего потому, что «все позволено». Это вы вправду меня учили, ибо много мне тогда этого говорили: ибо коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы вправду. Так я и рассудил.

**И.К.** – Своим умом дошел?

**С.** – Вашим руководством-с.

**И.К.** – А теперь, стало быть, в Бога уверовал, коли деньги назад отдаешь?

**С.** – Нет, не уверовал…

**И.К**. – Так зачем отдаешь?

**С.** – Полноте… ничего-с! Вы вот сами тогда все говорили, что все позволено, а теперь-то почему так встревожились, сами-то? Показывать на себя даже готовы идти… Только ничего этого не будет! Не пойдете показывать!

**И.К.** – Увидишь!

**С.** – Не может того быть. Умны вы очень. Деньги любите, это я знаю, почет тоже любите, потому что очень горды. Прелесть женскую чрезмерно любите, а пуще всего в спокойном довольстве жить и чтобы никому не кланяться – это пуще всего-с. Не захотите вы жизнь навеки испортить, такой стыд на суде принять. Вы, как Федор Павлович, наиболее, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одной с ними душой.

**И.К.** – Ты не глуп. Я прежде думал, что ты глуп. Ты теперь серьезен!

**С.** – От гордости вашей думали, что я глуп. Примите деньги-то.

**И.К.** – Завтра же я их на суде покажу.

**С.** – Никто вам там не поверит, благо денег-то у вас и своих теперь довольно, взяли из шкатунки, да и принесли-с.

**И.К.** – Повторяю тебе, если не убил тебя, то единственно потому, что ты мне на завтра нужен, помни это, не забывай!

**С.** – А что ж, убейте. Убейте теперь – не посмеете и этого, ничего не посмеете прежний смелый человек.

**И.К**. – До завтра…

**С.** – Постойте!.. Покажите мне их еще раз… ну, ступайте… Иван Федорович!

**И.К.** – Чего тебе?

**С.** – Прощайте!..

**И.К.** – До завтра.

**5**.

**Ч**. – Послушай, ты извини, я только чтобы напомнить: ты ведь к Смердякову пошел с тем, чтобы узнать про Катерину Ивановну, а ушел, ничего об ней не узнав, верно забыл…

**И.К.** – Ах, да!.. Да, я забыл… а ты – это я сам… Что ты выскочил, так я тебе и поверю, что это ты подсказал, а не я сам вспомнил.

**Ч.** – А не верь… что за вера насилием? При том же в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные… Фома поверил не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому, что прежде еще жаждал поверить…

**И.К.** – Слушай, я теперь точно в бреду…и, уж конечно, в бреду. Ври что хочешь, мне все равно… вот я обмочу полотенце холодной водой и приложу к голове, авось ты и испаришься…

**Ч.** – Мне нравится, что мы с тобой стали на «ты».

**И.К**. – Дурак, что ж я «Вы», что ли стану тебе говорить… Я теперь весел, только в виске болит… и темя… Только, пожалуйста, не философствуй… не можешь убраться, то ври что-нибудь веселое. Сплетничай… ведь ты приживальщик?.. Так сплетничай. Навяжется же такой кошмар!.. Но я не боюсь тебя, я тебя преодолею. Не свезут в сумасшедший дом!

**Ч.** – Это восхитительно! Приживальщик. Да, я именно в своем виде… Кто же на земле, как ни приживальщик?.. Кстати, я ведь слушаю тебя и немного дивлюсь: ей-Богу, ты меня как будто уже начинаешь помаленьку принимать за Нечто и в самом деле, а не за твою только фантазию.

**И.К.** – Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду. Ты – ложь. Ты – болезнь моя… Ты – призрак… Я только не знаю, чем тебя истребить. И вижу, что некоторое время надобно пострадать. Ты моя галлюцинация… ты воплощение меня самого… Только одной, впрочем, моей стороны, моих мыслей и чувств… Только самых гадких и глупых. С этой стороны ты мог быть даже мне любопытен, если бы только мне было время с тобой возиться…

**Ч**. – Ты сегодня со мной гораздо любезнее, чем в прошлый раз… И я понимаю отчего – ЭТО ВЕЛИКОЕ РЕШЕНИЕ…

**И.К.** – Молчи про решение!

**Ч**. – Понимаю, понимаю… это по-рыцарски. Это благородно. Это прекрасно…. Ты идешь защищать завтра брата… и приносишь себя в жертву… Это по-рыцарски!

**И.К**. – Молчи… Я тебе пинков надаю!

**Ч.** – Отчасти буду рад, ибо тогда цель достигнута… коли пинки, значит веришь в мой реализм, потому что призраку не дают пинков.

**И.К.** – Браня тебя, себя браню!.. Ты – я… Сам я… только с другою рожей… Ты именно говоришь то, что я уже мыслю. И ничего не в силах сказать мне нового!..

**Ч**. – Если я схожусь с тобой в мыслях, то это делает мне только честь.

**И.К**. – Только все скверные мои мысли берешь. А главное, глупые. Ты глуп и подл… ты ужасно глуп. Нет, я тебя не выдержу… Что мне делать! Что мне делать!..

**Ч.** –Ты что-то сегодня не в себе… Я знаю, ты ходил вчера к доктору… Ну, как твое здоровье? Что тебе доктор сказал?

**И.К**. – Дурак!

**Ч.** –Зато ты-то как умен… Ты опять бранишься?.. Я ведь не то что из участия, а так… пожалуйста, не отвечай… Теперь вот ревматизмы пошли…

**И.К**. – Дурак!

**Ч.** –Ты все свое… а я вот такой ревматизм прошлого года схватил, что до сих пор вспоминаю…

**И.К**. – У черта ревматизм?..

**Ч**. –Почему же и нет, если я иногда воплощаюсь. Воплощаюсь, так и принимаю последствия. Я Сатана и ничто человеческое мне не чуждо.

**И.К**. – Как, как? Сатана… Я Сатана и ничто человеческое… это не глупо для черта!

**Ч.** –Рад, что, наконец, угодил.

**И.К**. – А ведь это ты взял не у меня… это мне никогда в голову не приходило… это странно.

**Ч.** – Это ново, не правда ли?

**И.К**. – Скажи, долго ли у меня пробудешь? Не можешь уйти?.. Ты глуп. Ты ужасно глуп… Ты хочешь побороть меня реализмом. Уверить меня, что ты есть! Но я не хочу верить, что ты есть!.. Не верю… ты ужасно глуп…

**Ч**. – Вот ты поминутно, что я глуп… Так и видно молодого человека. Друг мой, не в одном уме только дело! У меня от природы сердце доброе и веселое. Ты, кажется, решительно принимаешь меня за поседелого Хлестакова, и, однако, судьба моя гораздо серьезнее. Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен «отрицать», между тем я искренне добр и к отрицанию совсем не способен. Нет, ступать отрицать, без отрицания-де не будет критики, какой журнал, если нет отделения критики!.. Без критики будет одна «осанна»… Но для жизни мало одной «осанны», надо, чтоб «осанна-то» эта проходила через горнило сомнения. Я, впрочем, во все это не ввязываюсь; не я сотворил, не я и в ответе. Ну, и выбрали козла отпущения, заставили писать в отделении критики, и получилась жизнь. Мы эту комедию понимаем: я, например, просто и прямо требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле все было бы благополучно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия… Вот и служу скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное. Даже при всем своем бесспорном уме. В этом их трагедия. Ну, и страдают, конечно, но… все же живут, живут реально, не фантастически. Ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие – все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато. Ну, а я?.. Я страдаю, а все же не живу. Я икс в неопределенном уравнении. Я какой-то призрак, который потерял все тконцы и начала, и даже сам позабыл, наконец, как и назвать себя. Я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и Богу свечки ставить.

**И.К.** – Уж и ты в Бога не веришь?

**Ч.** – То есть как тебе сказать, если ты серьезно…

**И.К**. – Есть Бог или нет?

**Ч.** – А, так ты серьезно… Голубчик мой, ей-Богу не знаю… Вот, великое слово сказал

**И.К.** – Не знаешь… а Бога видишь?.. Нет, ты не сам по себе, ты – я, то есть я и больше ничего! Ты дрянь… ты моя фантазия!.. Оставь меня… ты стучишь в моем мозгу, как неотвязный кошмар… Мне скучно с тобой. Невыносимо и мучительно… Я бы много дал, если бы мог прогнать тебя!..

**Ч.** – Воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, «гремя и блистая», с опаленными крыльями. А предстал в таком скромном виде. Ты оскорблен, во первых, в эстетических чувствах твоих, а во-вторых, в гордости; как, дескать, к такому великому человеку мог войти такой пошлый черт?.. Нет, в тебе есть эта романтическая струйка, столь осмеянная еще Белинским. Что делать, молодой человек!..

**И.К.** – Все, что ни есть глупого в природе моей, давно уже пережитого, перемолотого в уме моем, отброшенного, как падаль – ты мне же подносишь как какую-то новость! Нет, я никогда не был лакеем… Почему же душа моя могла породить такое лакея, как ты?

**Ч.** – Друг мой, я знаю одного прелестнейшего русского барчонка; молодого мыслителя, любителя литературы и изящных вещей, автора поэмы, которая обещает под названием «Великий Инквизитор».

**И.К.** – Я тебе запрещаю говорить о «Великом Инквизиторе»!..

**Ч.** – Ну, а «Геологический переворот»? Помнишь?.. Вот уж поэмка

**И.К.** – Молчи, или я убью тебя!

**Ч.** – Это меня-то убьешь? Нет уж, извини… Я и пришел, чтоб угостить себя этим удовольствием… О, я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих! «Там новые люди, решил ты еще прошлой весной, сюда собираясь, - они полагают разрушить все и начать с антропофагии. Глупцы, меня не спросились! По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо только разрушить в человечестве идею о Боге…

**И.К.** – Разрушить в человечестве идею о Боге.

**Ч.** –Вот с чего надо приняться за дело!

**И.К.** - С этого, с этого надобно начинать…

**Ч.** –О, слепцы, ничего не понимающие!

**И.К.** – Раз человечество отречется поголовно от Бога, то само собой, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступить все новое…

**Ч.** – Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но для счастья и радости в одном только здешнем мире.

**И.К.** – Человек возвеличится духом Божеской титанической гордости и явится Человеко-бог.

**Ч.** – Ежечасно побеждая уже без границ природу, волей своей и наукой, человек тем самым будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных.

**И.К.** –Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресенья, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог.

**Ч.** – Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение…

**И.К.** – И возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни

**Ч.** – Но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в уповании на любовь бесконечную… Вопрос теперь в том, думал мой юный мыслитель, возможно ли, чтобы такой период наступил когда-нибудь или нет? Если возможно…

**И.К**. – То все решено, и человечество устроится окончательно…

**Ч.** – Но так как, в виду закоренелой глупости человеческой, это, пожалуй, еще и в тысячу лет не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину…

**И.К**. – Позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах…

**Ч.** – В этом смысле ему «Все Позволено»… Мало того; если даже период этот и никогда не наступит, но так как Бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом

**И.К.** – Даже хотя одному в целом мире…

**Ч.** – И уж конечно, в новом чине, с легким сердцем перескочить всякую нравственную преграду прежнего раба человека, если оно понадобится. Для Бога не существует закона! Где станет Бог – там уже место Божие!.. Где стану я, там сейчас же будет первое место… «Все дозволено» и шабаш!.. Только вот, если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины?.. Но уж таков наш русский современный человечек: без санкции и смошенничать не решится, до того истину возлюбил… Ах, но это уже глупо, наконец!.. Вспомнил Лютерову чернильницу!.. Сам же считает меня за сон и кидается стаканом в сон!.. Это по-женски!.. Слышишь, лучше отвори, это брат твой Алеша с самым неожиданным и любопытным известием, уж я тебе отвечаю!..

**И.К**. – Молчи, обманщик, я прежде тебя знал, что это Алеша, я его предчувствовал…

**Ч.** – Час тому назад повесился Смердяков…

**6.**

**И.К**. – Алеша, можешь ты ко мне сейчас войти или нет? Одолжишь ужасно.

**А.К.** – А ты очень желал меня видеть?

**И.К.** – Очень. Я хочу с тобой познакомиться раз и навсегда и тебя с собой познакомить. Да с тем и проститься. По-моему, всего лучше знакомиться перед разлукой. Ты, кажется, почему-то меня любишь, Алеша?

**А.К.** – Люблю. Брат Дмитрий говорить про тебя: Иван – могила. Я говорю: Иван – загадка. Ты и теперь для меня загадка, но нечто я уже осмыслил в тебе. Так ты непременно завтра утром поедешь?

**И.К.** – Утром? Я не говорил, что утром. А что ты так беспокоишься, что я уезжаю? У нас с тобой еще Бог знает сколько времени до отъезда. Целая вечность времени, бессмертие.

**А.К.** – Если ты завтра уезжаешь, какая же вечность?

**И.К**. – Да нас-то с тобой чем это касается? Ведь свое-то мы успеем переговорить. Чего ты глядишь с удивлением? Отвечай: мы для чего здесь сошлись? Чтобы говорить о любви? О загранице? О роковом положении России? Об императоре Наполеоне? Для этого ли?

**А.К**. – Нет, не для этого.

**И.К.** – Сам понимаешь, значит, для чего. Ты из-за чего все эти три месяца глядел на меня в ожидании? Чтобы допросить меня: «Како веруеши, али вовсе не веруеши» - ведь так?

**А.К.** – Пожалуй, что и так.

**И.К**. – Ну, говори же, с чего начать, с Бога? Существует ли Бог, что ли?

**А.К**. – С чего хочешь, с того и начинай. Ведь ты вчера провозгласил, что нет Бога.

**И.К**. – Видишь ли, голубчик, был один старый грешник в восемнадцатом столетии, который изрек, что если бы не было Бога, то его следовало бы выдумать. И не то странно, не то было бы дивно, что Бог в сам деле есть, а то дивно, что такая мысль – мысль о необходимости Бога – могла залезть в голову такому дикому и злому животному, как человек, до того она свята, до того трогательна, до того премудра, и до того она делает честь человеку. Что же до меня, то я давно положил не думать о том: человек ли создал Бога или Бог человека. Задача в том, чтоб я как можно скорее мог объяснить тебе мою суть, то есть, что я за человек, во что верую и на что надеюсь, ведь так? А потому я и объявляю, что принимаю Бога прямо и просто… Но вот, что надо отметить: если Бог есть и если он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал он ее по эвклидовой геометрии, а ум человеческий, с понятием лишь о трех измерениях пространства. Между тем, находились, находятся и теперь даже геометры и философы, и даже из замечательных, которые сомневаются в том, что вся вселенная или, еще обширнее – все бытие, было создано лишь по эвклидовой геометрии, осмеливаются мечтать, что две параллельные линии, которые по Эвклиду ни за что не могут сойтись на земле, может, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. Я, голубчик, решил так, что если я даже этого понять не могу понять, то где же мне про Бога понять. У меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего. Да и тебе не советую об этом никогда не думать. Итак, принимаю Бога, принимаю и премудрость Его, и цель Его, нас совершенно уже неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию. Ну, так представь же себе, я не Бога не принимаю, я мира им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять.

**А.К.** – Ты мне объяснишь, для чего «мира не принимаешь»?

**И.К.** – Уж конечно объясню, не секрет, к тому и вел… Я хотел заговорить, Алеша, о страданиях человечества вообще. Но лучше уж остановиться на страданиях одних детей. Я, видишь ли, любитель и собиратель некоторых фактиков, записываю и собираю из газет и журналов. У меня уже хорошая коллекция. Знаешь, Алеша, у нас историческое непосредственное наслаждение истязания, бития. Вот послушай. Интеллигентный, образованный господин и его дама секут собственную дочку, младенца семи лет, розгами. Папенька рад, что прутья с сучками, «садче будет», говорит он, и вот начинает «сажать» родную дочь. Ребенок кричит, ребенок, наконец, не может кричать, задыхается: «Папа, папа, папочка, папочка!». Дело каким-то неприличным случаем доходит до суда. Нанимается адвокат. Адвокат кричит в защиту своего клиента: «Дело, дескать, такое простое, семейное и обыкновенное, отец посек дочку, и вот к стыду наших дней дошло до суда!». Убежденные присяжные выносят оправдательный приговор. Публика ревет от счастья, что оправдали мучителя. Картинка прелестная? Но о детках есть у меня и получше. У меня очень много собрано о русских детках, Алеша. Девочку, маленькую пятилетнюю возненавидели отец и мать, «почтенные и чиновные люди, образованные и воспитанные». Я еще раз положительно утверждаю, что есть особенное свойство в человечестве – это любовь к истязанию детей. Любят мучить детей, любят даже самих детей в этом смысле. Тут именно незащищенность-то этих созданий и соблазняет мучителей, и распаляет их гадкую кровь истязателей. Во всяком человеке, конечно, таится зверь, зверь сладострастной распаляемости от криков истязуемой жертвы, зверь безудержу спущенного с цепи, зверь нажитых болезней, подагр, больных печенок и прочее. Так вот, эту бедную пятилетнюю девочку эти образованные родители подвергали всевозможным истязаниям. Они били ее, секли, пинали ногами, не зная сами за что. Обратили все тело ее в синяки. Наконец, дошли до высшей утонченности: в холод, в мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место, и за что, она не просилась ночью, - за это обмазывали ей все лицо ее калом и заставляли ее есть этот кал. И это мать, мать заставляла! И эта мать могла спать спокойно, когда ночью слышались стоны бедного ребеночка, запертого в подлом месте! Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и холоде, крошечным кулачком своим в надорванную грудку и плачет своими кровавыми слезами к «Боженьке», чтобы тот защитил его. Понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана? Без нее, говорят, и прибыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к «Боженьке». Я не говорю про страдания больших, те яблоко съели, и черт с ними, пусть бы их всех черт забрал, но эти, эти!.. Мучаю я тебя, Алешка, ты как будто не в себе. Я перестану, если хочешь.

**А.К.** – Ничего, я тоже хочу мучиться.

**И.К.** – Слушай меня: я взял одних деток, для того, чтобы вышло очевиднее. Я клоп и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено. Люди, значит, сами виноваты: им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастны, значит нечего их жалеть. По моему, по жалкому эвклидовскому уму, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и все уравновешивается, - но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу согласиться! Что мне в том, что виновных нет и что я это знаю, - мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети? Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собой для кого-то будущую гармонию? Алеша, я не богохульствую! Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда все на небе и под землей сольется в один хвалебный глас и все живое и жившее воскликнет: «Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои!». Настанет венец познания и все объяснится. Но вот тут-то и запятая, этого-то я и не могу принять. Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от вечной гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными своими слезками к «Боженьке»! Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты их искупишь? Неужто тем, что они будут отмщены? Но зачем мне их отмщение? Зачем мне ад для мучителей? Что тут ад может поправить, когда те уже замечены? И потом, какая же гармония, если ад? И есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить всех, вся и за все? Я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены. Я хочу оставаться со страданиями неотмщенными. Слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. Не Бога я не принимаю, Алеша, я только мира им созданного, мира Божьего не принимаю, я только билет ему почтительнейше возвращаю.

**А.К.** – Это бунт.

**И.К.** – Бунт?.. Я не хотел от тебя такого слова. Бунт. Можно ли жить бунтом, а я жить хочу. Скажи мне сам прямо – отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, покой и мир, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего одно только крошечное созданице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачком в грудь, и на неотмщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!

**А.К.** – Нет, не согласился бы.

**И.К.** – И можешь ли допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв остаться навеки счастливыми?

**А.К.** – Нет, не могу допустить. Брат, ты сказал сейчас: есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но существо это есть, и оно может все простить, всех и вся, и за все, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и вся. Ты забыл о нем?

**И.К.** – А это единый безгрешный и его кровь! Не забыл. Знаешь, Алеша, ты не смейся, когда-то сочинил поэму, с год назад. Если можешь потерять со мной еще минут десять, то я б тебе рассказал.

**А.К.** – Ты написал поэму?

**И.К.** – О, нет, не написал. И никогда в жизни я не сочинил даже двух стихов. Но поэму эту я выдумал и запомнил. С жаром выдумал. Ты будешь первый мой читатель, то есть слушатель. Рассказывать или нет?

**А.К.** – Я слушаю.

**И.К.** – Поэма моя называется «Великий Инквизитор», вещь нелепая, но мне хочется ее тебе сообщить… Вот ведь, без предисловия невозможно. Видишь ли, действие у меня происходит в 16-том столетии, а тогда, как раз был в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Во Франции судебные клерки, по монастырям монахи давали целые представления. Во Франции судебные клерки, по монастырям монахи давали целые представления, и у нас в России занимались и будут заниматься драматическими представлениями на эту тему. Да вот, к примеру, одна поэмка, имеющая быть…

**7.**

**ХОР** – В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца Нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи ПОНТИЙ ПИЛАТ…

**Пилат.** – О боги, боги, за за что вы наказываете меня?.. Да, нет сомнения, это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь… гемикрания, при которой болит полголовы… от нее нет средств, нет никакого спасения… попробую не двигать головой… Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали?

**Сек. –** Да, прокуратор.

**Пил. –** Что же он?

**Сек. –** Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение

**Пилат –** Приведите обвиняемого… Так это ты подговаривал народ разрушить Ершалоимовский храм?

**Иешуа.** – Добрый человек! Поверь мне…

**Пилат. –** Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут, что я свирепое чудовище. Кентуриона Крысобоя ко мне… Преступник называет меня «добрым человеком». Объясните ему, как надо разговаривать со мной… Но не калечить

**Марк** – Римского прокуратора называть игемон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня или ударить тебя?

**Иешуа –** Я понял тебя. Не бей меня.

**Пилат** – Имя?

**Иешуа** – Мое?

**Пилат** – Мое мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое

**Иешуа** – Иешуа.

**Пилат** – Прозвище есть?

**Иешуа** – Га-Ноцри.

**Пилат** – Откуда ты родом?

Иешуа – Из города Гамалы.

**Пилат** – Кто ты по крови?

**Иешуа** - Я точно не знаю. Я не помню своих родителей. Мне говорили, что мой отец сириец…

**Пилат** – Где ты живешь постоянно?

**Иешуа** – У меня нет постоянного жилища. Я путешествую из города в город.

**Пилат** – Это можер назвать короче – бродяга. Родные есть?

**Иешуа** – Нет никого. Я один в мире.

**Пилат** – Знаешь ли грамоту?

**Иешуа** – Да.

**Пилат** – Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?

**Иешуа** – Знаю. Греческий.

**Пилат** - Так это ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ?

**Иешуа** – Я, доб… Я, игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и кикого не подговаривал на это бессмысленное действие.

**Пилат** – Множество разных людей стекаются в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи, предсказатели и убийцы, а попадаются и лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно: подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди.

**Иешуа** – Эти добрые люди… игемон… ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной.

**Пилат** – Повторяю тебе, но в последний раз: перестань притворяться сумасшедшим, разбойник. За тобой записано не много, но записанного достаточно, чтобы тебя повесить.

**Иешуа** – Нет, нет, игемон. Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги этот пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал.

**Пилат** – Кто такой?

**Иешуа** – Левий Матвей. Он был сборщиком податей, я с ним встретился впервые на дороге в Вифагии, так, где углом выходит фиговый сад, и разговаривал с ним. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня… то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой. Я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово… Однако, выслушав меня, он стал смягчаться, наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мной путешествовать…

**Пилат** – О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем! Сборщик податей, вы слышите, бросил деньги на дорогу!

**Иешуа** – А он сказал, что деньги ему отныне ненавистны. И с тех пор он стал моим спутником.

**Пилат** - Левий Матвей?

**Иешуа** – Да, Левий Матвей.

**Пилат** – А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?

**Иешуа** – Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.

**Пилат** – Зачем же ты, брожягя, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?.. (в сторону) О, боги, боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде… мой ум не служит мне больше… Яду мне, яду…

**Иешуа** – Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе даже трудно глядеть на меня. И я сейчас невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчаешь. Ты не можешь даже думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по видимому существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет… Ну, вот, все и кончилось. И я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елионской горе. Гроза начнется… позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе пользу большую, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно бы поделился бы ими с тобой, тем более, что ты производишь впечатление очень умного человека. Беда в том, что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя , согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон.

**Пилат** – Развяжите ему руки… Сознайся, ты великий врач?

**Иешуа** – Нет, прокуратор, я не врач.

**Пилат** – Я не спросил тебя… Ты, может быть, знаешь и латинский язык?

**Иешуа** – Да, знаю.

**Пилат** – Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?

**Иешуа** – Это очень просто. Ты водил рукой по воздуху. Как будто хотел погладить, и губы…

**Пилат** – Да… Итак, ты врач.

**Иешуа** – Нет, нет, поверь мне, я не врач.

**Пилат** – Ну, хорошо, если хочешь это держать в тайне, держи. К делу это прямого отношения не имеет. Так ты утверждаешь, что ты не призывал разрушить… или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм?

**Иешуа** – Я, игемон, никого не призвал к подобным действиям, повторяю. Разве я похож на сумасшедшего?

**Пилат** – О да, ты не похож на слабоумного. Так поклянись, что этого не было

**Иешуа** – Чем хочешь ты, чтобы я поклялся?

**Пилат** – Ну, хотя бы жизнью своей. Ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это.

**Иешуа** – Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? Если так, ты сильно ошибаешься.

**Пилат** – Я могу перерезать этот волосок.

**Иешуа** – И в этом ты ошибаешься. Согласись, что перерезать волосок уж наверное может тот, кто аодвесил.

**Пилат** – Так, так. Теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Ершалаиме ходили за тобой попятам. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпой черни, кричавшей тебе приветствия как бы некому пророку?

**Иешуа** – У меня-то и осла никакого нет, игемон. Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком , в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал.

**Пилат** – Не знаешь ли ты таких, некоего Дисмаса, другого – Гесмаса и третьего – Вар-Раванна?

**Иешуа** – Этих добрых людей я не знаю.

**Пилат** – Правда?

**Иешуа** – Правда.

**Пилат** – А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова – «добрые люди». Ты всех, чтоли так называешь?

**Иешуа** – Всех. Злых людей нет на свете.

**Пилат** – Впервые слышу об этом. Но, может быть, я мало знаю жизнь… (секретарю) Можете дальше не записывать. В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?

**Иешуа** – Нет, я своим умом дошел до этого.

**Пилат** – И ты проповедуешь это?

**Иешуа** – Да.

**Пилат** – А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем – он добрый?

**Иешуа** – Да. Он, правда, несчастный человек. С тех пор, как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил?

**Пилат** – Охотно могу сообщить это, ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок, и если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма, а командовал ею я – тебе, философ не апришлось бы разговаривать с Крысобоем. Это было в бою при Идиставизо, в долине Дев.

**Иешуа** – Если бы с ним поговорить, я уверен, что он резко изменился бы.

**Пилат** – Я полагаю, что мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого не случится, к общему счастью, и первый, кто об этом позаботится, буду я… (в сторону) Игемон разобрал дело бродячего философа Иешуа, по кличке Га-Ноцри, и состава преступления в нем не нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, происшедшими в Ершалаиме недавно. Бродячий философ оказался душевнобольным, вследствии этого смертный приговор Га-Ноцри, вынесенный Малым Синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, что безумные утопические речи Га-Ноцри могут стать причиной волнений В Ершалаиме, прокуратор удалят Иешуа из Ершалаима и подвергает его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно так, где резиденция прокуратора. Моя резиденция. (секретарю) Все о нем?

**Сек.** – Нет, к сожалению.

**Пилат** – Что еще там?.. Закон об оскорблении величества… (в сторону) Погиб!.. Погибли!.. Бесмертие… (Иешуа) Слушай, Га- Ноцри. Ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или н е… говорил?

**Иешуа** – Правду говорить легко и приятно.

**Пилат** – Мне не нужно знать, притно тебе говорить правду. Но тебе придется ее говорить. Но говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти… Итак, отвечай, знаешь ли ты некоего Иуду из Кариафа и что именно ты говорил ему, если говорил, о кесаре?

**Иешуа** – Дело было так. Позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Кариафа. Он пригласил меня к себе в дом в нижнем городе и угостил

**Пилат** – Добрый человек?

**Иешуа** – Очень добрый и любознательный человек. Онвыказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно…

**Пилат** – Светильники зажег…

**Иешуа** – Да, и попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал

**Пилат** – И что же ты сказал? Или ты ответишь, что забылЮ что говорил?

**Иешуа** – В числе прочего я говорил, что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти кесарей, мкакй-либо иной власти. Человек прейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.

**Пилат** – Далее!

Иешуа – Далее ничего не было. Тут вбежали люди, стали меня вязать и повели в тюрьму.

**Пилат** – Не свете не было и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиберия! И не тебе, преступник, рассуждвть р ней!.. Вывести конвой с балкона! (секретарю) Оставьте меня с преступником наедине, здесь государственное дело!

**Иешуа** – Я вижу, что совершилась какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из Кариафа. У меня, игемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль.

**Пилат** – Я думаю, что есть еще кое-кто на свете, кого следовало бы пожалеть более, чем Иуду из Вариафа, и кому предется гораздо хуже, чем Иуде!.. Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач, люди, которые били тебя, как я вижу, за твои проповеди, разбойники Дисмас, и Гестас, убившие сосвоими присными четырех солдат, и, наконец, грязный предатель Иуда – все они добрые люди?

**Иешуа** – Да.

**Пилат** – И настанет царство истины?

**Иешуа** – Настанет, игемон.

**Пилат** – Оно никогда не настанет… Преступник! Преступник! Прес9тупник! Иешуа Га-Ноцри, веришь литы в каких-нибудь богов?

**Иешуа** – Бог один, в него я верю.

**Пилат** – молчатьТак помолись ему! Впрочем… это не поможет. Жены нет?

**Иешуа** – Нет, я один.

**Пилат** – Ненавистный город… Если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудой из Кариафа, право, это было бы лучше.

**Иешуа** – А ты бы меня отпустил, игемон. Я вижду, что меня хотят убить.

**Пилат** – Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю! И слушай меня: если с этой минуты ты произнесешь хотя бы слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня! Повторяю тебе – берегись!

**Иешуа** – Игемон!

**Пилат** – Молчать! Ко мне!.. Я утверждаю смертный приговор, вынесенный в собрании Малого Синедриона преступнику Иешуа Га-Ноцри… Марка Крысобоя ко мне!.. (Марку) Сдать преступника начальнику тайной службы и при этом передать ему распоряжение о том, чтобы Иешуа Га-Ноцри был отделен от других осужденных, а таеже о том, чтобы команде тайной службы было под страхом тяжкой кары запрещено очем бы то ни)было разговаривать с Иешуа или отвечать на каккие-либо его вопросы… (секретарю) Пригласить вол дворец президента Синедриона, двух членов его и начальника храмовой службы Ершалаим. Прошу устроить так, чтобы до совещания со всеми этими людьми я мог говорить с президентом раньше и наедине …

(Каифе) Я разобрал дело Иешуа Га-Ноцри и утвердил смертный приговор. Таким образом, к смертной казни, котороя должна совершиться сегодня, приговорены трое разбойников: Дисмас, Гестас, Вар-Раван и, кроме того, этот Иешуа Га-Ноцри. Первые двое, вздумавшие подбивать народ на бунт против кесаря, взяты с боем римской властью, числятся за прокуратором и, следовательно, о них здесь речь идти не будет. Последние же, Вар-Раван и Га-Ноцри, схвачены местной властью и осуждены Синедрионом. Согласно закону, согласно обычаю, одного из этих двух преступников нежно будет отпустить на свободу в честь наступающего сегодня великого праздника пасхи. Итак, прокуратор желает знать, кого из двух преступников намерен освободить Синедрион: Ва-Равана или Га-Ноцри?

**Каифа** – Синедрион просит отпустить Вар-Раввана.

**Пилат** – Признаюсь, этот ответ меня поразил. Боюсь, нет ли здесь недоразумения. Римская власть ничуть не покушается на права духовной местной власти и вам первосвященнику это хорошо известно, но в данном случае налицо явная ошибка, и в исправлении ошибки римская власть, конечно заинтересована. В самом деле: преступления Вар-Раввана и Га-Ноцри совершенно несравнимы по тяжести. Если второй, явно сумасшедший человек, повинен в произнесении нелепых речей в Ершалаиме и других местах, то первый отягощён гораздо значительнее. Мало того, что он позволил прямые призывы к мятяжу, но он еще убил стража при попытках брать его. Вар-Равван несравненно опаснее, чем Га-Ноцри. В силу всего изложенного, я прошу пересмотреть решение и оставить на свободе того из двух осужденных, кто менее вреден, а таким, без сомнения, является Га-Ноцри. Итак?..

**Каифа** – Синедрион внимательно ознакомился с делом и вторично сообщает, что намере освободить Ва-Раванна.

**Пилат** – Как? Даже после моего ходатапйства? Ходатайства того, в лице которого говорит римская власть? Первосвященник, повтори в третий раз.

**Каифа** – И в третий раз сообщаю, что мы освобождаем Вар-Раввана.

**Пилат** – (в сторону) Уходит, уходит навсегда… какая тоска… Бессмертие, пришло бессмертие… Чье бессмертие пришло?.. Ничего не понимаю… (Каифе) Хорошо. Да будет так. Тесно мне, тесно мне!..

**Каифа** – Сегодня душно, где-то идет гроза. О, какой страшный месяц Нисан в этом году!

**Пилат** – Нет, это не от того, что душно, а тесно мне стало с тобой, Каифа. Побереги себя, первосвященник.

**Каифа** – Что слышу я, прокуратор? Ты угрожаешь мне после вынесенного приговора, вынесенного тобой самим? Может ли это быть? Мы привыкли к тому, что римский прокуратор выбирает слова, прежде чем сказать. Не услышал бы нас кто-нибудь, игкмон.

**Пилат** – Что ты, первосвященник! Кто же может услышать нас сейчас здесь. Мальчик ли я, Каифа? Знаю, что гооврю и где говорю. Оцеплен сад, оцеплен дворец, так что мышь не проникнет ни в какую щель. Да не только мышь, не проникнет даже этот, как его… из города Кариафа. Кстати, ты не знаешь такого, первосвященник? Да… если бы такой проник сюда, он горько бы пожалел себя, и в этом ты мне, конечно, поверишь. Так знай же, что не будет тебе, первосвященник, отныне покоя! Ни тебе, ни народу твоему. Это я тебе говорю, Пилат Понтийский, всадник Золотое копье!

**Каифа** – Знаю, знаю!.. Знает народ иудейский, что ты ненавидишь его лютой ненавистью, и много мучений ты ему причинишь, но вовсе ты его не погубишь! Защитит его Бог! Услышит нас всемогущий кесарь, укроет нас от губителя Пилата!

**Пилат** – О нот! Слишком много ты жаловался на меня кесврю, настал теперь мой час, Каифа! Теперь полетит весть от меня, да не наместнику а Антиохию и не в Рим, а прямо на Каприю, самому императору. Весть о том, как вы заведомых мятежников в Ершалаиме прячете от смерти. И не водой из Соломонова пруда, как я хотел для вашей же пользы, напою я тогда Ершалаим, нет, не водой! Вспомни, как мне пришлось из-за вас снимать щиты с вензелями императора со стен, перемещать войска. Пришлось, видишь, самому поехать глядеть, что у вас тут твориться! В спомни мое мое слово, увидишь ты здесь первосвященник не одну кагорту в Ершалаиме, нет! Придет под стены города полностью легион бульмината, подойдет арабская конница. Тогда услышишь ты горький плач и стенания! Вспомнишь ты тогда спасенного Ва-Раввана

Каифа – Веришь ли ты, прокуратор, сам тому, что говоришь? Нет, не веришь. Ты хотел его отпустить затем, чтоб он смутил народ и над верою надругался, и подвел народ под римские мечи. Ведь он же говорил: «Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб», а я говорю: «Не противься злому». Но я первосвященник иудейский, покуда жив еще не дам на поругание веру и защищу народ! Ты слышишь, Пилат? Прислушайся, прокуратор!.. Ты слышишь, прокуратор ропот толпы?..

Пилат – Дело идет к полудню. Мы увлеклись беседой, а между тем надо продолжать… Я утверждаю смертный приговор Иешуа Га-Ноцри и спрашиваю у членов Синедриона, кого из преступников угодно оставить в живых?

Каифа – Очень хорошо. (секретарю) Занесите в протокол… Пора!.. Именем кесаря императора!.. Четверо преступников, арестованных в Ершалоиме за убийство, подстрекательство к мятежу и оскорбление законов и веры, приговорены к позорной казни – повешанию на столбах! И эта казнь сейчас совершится на Лысой горе! Имена преступников – Дисмас, Гестас, Вар\_Равван и Га-Ноцри. Но казнены из них будут только трое, ибо, согласно закону и обычаю, в честь праздника пасхи, одному из осужденных, по выбору Малого Синедриона и по утверждению римской власти, великодушный кесарь император возвращает его презренную жизнь!.. Имя того, кого сейчас при вас отпустят на свободу… (в сторону) Все? Все. Имя!.. Вар-Равван!..

………………………………………………………………………………………………………………………..

**И.К.** - Ну, вот и моя поэмка была бы в таком же роде. У меня на сцене появляется Он. 15 веков минуло тому, как Он дал обетование: «Се гряду скоро. О дне же том и часе не знает даже и сын. Токмо лишь Отец мой Небесный», так изрек Он и сам еще на земле. Действие у меня происходит в Испании, в Севильи, в самое страшное время инквизиции. По безмерному милосердию Своему, Он приходит еще раз между людьми в том самом облике человеческом, в котором ходил между людьми 15 веков назад. Он появляется тихо, незаметно, и вот все – странно это – узнают Его. Солнце любви горит в Его сердце, лучи света, просвещения и силы текут из очей Его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответной любовью. И вот в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора на площади сам кардинал – Великий инквизитор. Это девяностолетний почти старик. Он останавливается перед толпой и наблюдает издали. Он все видел. Лицо его омрачилось. Он простирает перст свой и велит страже взять Его. Стража приводит пленника в тесную и мрачную тюрьму в древнем здании святого судилища. Проходит день, настает темная, горячая и бездыханная севильская ночь. Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы.

**8.**

**И.** – Это ты?.. Не отвечай, молчи. Ты и права не имеешь ничего прибавить к тому, что уже сказано? тобой прежде. Зачем ты пришел нам мешать? Ты пришел нам мешать, и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, да и знать не хочу. Ты ли это, или только подобие его, но завтра я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который целовал твои ноги, по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли, знаешь ли ты это? Да, ты это знаешь…

**А.К**. – Я не совсем понимаю, Иван, что это такое? Безбрежная фантазия, ошибка старика или путаница, недоразумение, ки про кво?

**И.К.** – Прими хоть последнее, если уж тебя так разбаловал современный реализм. Тут дело в том только, что старику надо высказаться за все девяносто лет, о чем все девяносто лет молчал.

**А.К**. – А пленник молчит? Глядит на него и не говорит ни слова?

**И.К.** – Да, так.

**И**. – Молчи. Все, что ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад. Не ты ли говорил: «Хочу сделать вас свободными» Ну вот, ты теперь увидел этих «свободных» людей. Да, это дело нам дорого стоило. Сколько веков мучились этой свободой, но теперь это кончено и кончено крепко. Ты смотришь на меня кротко и не удостаиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь эти люди уверены более, чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. А того ль ты желал? Человек устроен бунтовщиком. Разве бунтовщики могут быть счастливы? Тебя предупреждали, ты не имел недостатка в предупреждениях, но ты не послушал предупреждений, ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать, и уж конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем ты пришел нам мешать? Страшный и умный дух самоуничтожения и небытия, великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, будто бы он искушал тебя. Так ли это? Можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах? В явлении этих трех вопросов и заключалось чудо. По одним вопросом этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолютным. В этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое вся дальнейшая история человечества.

Вспомни первый вопрос: «Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся и страшатся – ибо ничего и никогда не было для человека и человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное». Но не захотел лишить человечества свободы и отверг предложение. Ты возразил, что не единым хлебом жив человек. Но во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобой и победит тебя. Пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости, что преступления нет, а стало быть нет и греха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!». Вот, что напишут на знамени, которым разрушится храм Твой. Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: «Лучше поработите нас, но накормите нас». Поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслима. Никогда не сумеют они разделиться между собой! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным? Приняв «хлебы», ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую – «перед кем преклониться». Но ищет человек преклониться перед тем, что бесспорно, сыскать такое, чтоб все уверовали, и чтоб непременно все вместе. Ты знал, ты не мог не знать, эту основную тайну природы человеческой. Но ты отверг единственное абсолютное знамя, чтобы заставить всех преклониться перед тобой бесспорно, - знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому передать поскорее этот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладеет свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. В этом ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не только в том, чтобы жить, а в том, для чего жить. Спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла. Нет ничего обольстительнее для человека, чем свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. Вместо того, чтобы овладеть людской свободой, ты умножил ее и обременил мучениями душевное царство человека вовеки.

Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навек победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастья – этисилы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье. Ты не бросился вниз, когда страшный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал: «Если хочешь узнать, Сын ли ты Божий, сверзись вниз». О, конечно, ты поступил тут гордо и великолепно, как Бог. Но они-то, Боги ли? Ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, как тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не сколько Бога, сколько чудес. «Сойди с креста, кричали они тебе, и уверуем, что это Ты». Ты не сошел, потому, что опять-таки не захотел порабощать человека чудом и жаждал свободной веры, свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуществом, раз и навсегда его ужаснувшем. Но и тут ты судил о людях слишком высоко. Озрись и суди. Прошло столько веков, поди, посмотри на них, кого ты вознес до себя?

Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо, и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар свободы, принесший им столько муки. К чему же ты пришел нам мешать? Рассердись, я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. Мы не с тобой, а с ним, вот наша тайна! Но кто виноват? Дело это до сих пор в начале, но оно началось. Много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей. А между тем, и тогда мог взять меч кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы все, что ищет человек на земле, то есть, перед кем преклониться, кому вручить свою свободу, и каким образом соединиться, наконец, всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать. Безо всяких чудес увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших. Ибо будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни. Оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будут тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. И мы, взявшие грехи их, для счастья их на себя, мы встанем перед тобой и скажем: «Суди нас, если можешь и смеешь».

Я не боюсь тебя, и я был в пустыне, и я питался акридами и кореньями, и я благословлял свободу. Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я примкнул к тем, которые исправили подвиг Твой. Я ушел от гордых и возвратился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же увидишь ты это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если кто из всех более заслужил наш костер, то это Ты. Завтра сожгу Тебя. Дикси. Я сказал…

Ступай и не приходи более… не приходи вовсе… никогда, никогда!

**А.К.** – Но… это нелепость! Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула… как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли ее надо понимать? Твой страдающий инквизитор – одна фантазия…

**И.К.** – Да, стой, стой. Как ты разгорячился. Фантазия, говоришь ты, пусть!

**А.К.** – Инквизитор твой не верит в Бога, вот и весь его секрет!

**И.К.** – Хотя бы и так! На закате дней своих он убеждается ясно, что лишь советы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков «недоделанные пробные существа, созданные в насмешку». И вот убедясь в этом, он видит, что надо идти по указанию умного и страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман и вести людей сознательно к смерти и разрушению и при этом обманывать их всю дорогу, чтобы они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того, чтобы хоть в дороге эти слепцы чувствовали себя счастливыми… Впрочем, защищая мою мысль, я имею вид сочинителя, не выдержавшего твоей критики. Довольно об этом.

**А.К.** – И ты вместе с ними?

**И.К.** – Да ведь это же вздор, Алеша, ведь это только бестолковая поэма.

**А.К.** – С таким адом в груди, разве это возможно? Это чтобы «все позволено»? Все позволено, так ли?

**И.К.** – Да, пожалуй: «все позволено», раз уж слово произнесено. Не отрекаюсь. Я, брат, уезжая, думал, что имею на всем свете хоть тебя, а теперь вижу, что и в твоем сердце мне нет места, мой милый отшельник. От формулы «все позволено» я не отрекусь. Ну, и что же, за это ты от меня отречешься, да?

(Алеша подходит и тихо целует его)

Литературное воровство! Это ты украл из моей поэмы! Спасибо, однако.Ну что ж, Алеша, пора. Пора и мне и тебе…

**9.**

**ХОР**

 В начале было Слово

Слово

И Слово было у Бога,

Слово

И Слово было Бог.

 Оно было в начале у Бога.

 Все чрез Него начало быть,

И без Него ничто не начало быть

что начало быть.

 В Нем была жизнь,

и жизнь была свет человеков.

 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.

 В мире был, и мир чрез Него начал быть,

и мир Его не познал.

 Пришел ко своим,

своим

и свои Его не приняли.

не приняли

 А тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами,

 которые ни от крови,

ни от хотения плоти,

ни от хотения мужа,

но от Бога родились.

 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины;

 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.

 Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.

Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.

Свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы;

 ибо всякий, делающий злое,

злое

ненавидит свет и не идет к свету,

не идет

чтобы не обличились дела его, потому что они злы,

А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его,

потому что они в Боге соделаны.

Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех,

 и что Он видел и слышал, о том и свидетельствует;

и никто не принимает свидетельства Его

 Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.

 Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь.

 Не принимаю славы от человеков,

 но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу.

 Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете.

 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?

И говорит как сущий от земли

Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.

 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную,

Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.

1. [↑](#footnote-ref-1)